

НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

НОВГОРОДСКАЯ
ВОЛЬНИЦА

Николай Гейнце

Новгородская вольница

«Public Domain»

1895

Гейнце Н. Э.

Новгородская вольница / Н. Э. Гейнце — «Public Domain»,
1895

Исторический роман из времен Иоанна III. «На дворе стоял сентябрь 1477 года. Бледные осенние тучи бежали по небосклону. Из них сыпался мелкий частый дождь; отдаленные горы и вершины были покрыты как бы серебряной дымкой; ветер то бурливо завывал по ущельям, раскачивая макушки огромных дубов и шумя последними желто-красными листьями молодого осинника, то взрывал гладкую поверхность реки Волхова, и тогда, пробужденная от своего величественного покоя, разгневанная стихия бурлила и клекотала, как кипяток...»

Содержание

Часть I	5
I. В Новгороде	5
II. В тереме Марфы	8
III. Клятва	12
IV. Среди спасителей отечества	15
V. Новгородская бывальщина	17
VI. Чурчила	20
VII. Вече	22
VIII. Бунт	24
IX. В келье Феофила	27
X. Ответ великому князю	29
XI. На берегу Волхова	31
XII. В доме Фомы	34
XIII. В Чертовом ущелье	39
XIV. Терем под Москвой	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Николай Эдуардович Гейнце

Новгородская вольница

Часть I

Господин или государь?

I. В Новгороде

На дворе стоял сентябрь 1477 года.

Бледные осенние тучи бежали по небосклону. Из них сыпался мелкий частый дождь; отдаленные горы и вершины были покрыты как бы серебряной дымкой; ветер то бурливо завывал по ущельям, раскачивая макушки огромных дубов и шума последними желто-красными листьями молодого осинника, то взрывал гладкую поверхность реки Волхова, и тогда, пробужденная от своего величественного покоя, разгневанная стихия бурлила и клочкотала, как кипятик.

Вдруг среди этих чудных по своему разнообразию звуков природы раздался звон вечернего колокола в Новгороде: раз, два... и залился. Вся окрестность, содрогнувшись, заняла от этого звука.

Народ, слыша его, повалил буйными и нестройными толпами на Ярославово Дворище, окружавшее вече, и буквально затопил его. Рогатки, заграждавшие улицы, раскидывались и трескали от напора толпы.

Призыв на вече раздался рано утром, и рогатки еще не были раздвинуты ярыжками¹.

– Что за невзгода снова грозитя на нас, бедных! – восклицали иные бегущие вслух, а другие только думали то же самое про себя, спеша достигнуть двора Ярославова, с которого несея вещий и пронзительный звук вечернего колокола.

Без всякого порядка, без малейшего уважения к этому священному месту, бросился народ к воротам и стучал в них чем попало, угрожая выломать их или же сшибить камнями звоняря, если его тотчас не впустят в общее собрание.

Несколько караульных, – иные с бердышами, иные с пищалями, чинно разъезжавшие вокруг двора, – были сметены, а полусонные ярыжки, шатавшиеся в изумлении и хлопотах во все стороны с поднятыми, присвоенными их должности палками, были биты ими же.

Наконец ворота подались, скрипнули, народ еще теснее прижался к ним, и они начали медленно растворяться.

Толпа с шумом, подобно бурному потоку, бросилась в них, но вдруг отступила, как бы пораженная внезапным видением, окаменела и мгновенно оказалась с обнаженными головами.

Архиепископ Феофил, во всем облачении, с животворящим крестом в руках, сопровождаемый знатнейшими сановниками, посадниками города и клиром, появился перед народом.

– Люди дерзновенные! – раздался среди наступившей могильной тишины его грозный голос, – образумьтесь! На что покушаетесь вы и перед кем? Разве забыли вы, ослушники богопротивные, перед чьим лицом предстоите? Смиритеесь и приложите внимание к грамоте, которую прочтут вам. Но предворяю вас: размыслить хорошенько, о чем пишет к вам законный ваш князь. Вот наместник его, прибывший к нам вчера о вечерье.

¹ Полицейские того времени. (Здесь и далее примечания автора).

Архиепископ указал рукою на бывшего тут же боярина Федора Давыдовича и продолжал:

– Не посрамите себя перед ним, дайте в душе вашей место голосу совести и отвечайте ему кротко, что внушит вам рассудок. Настало время решительное. Отечество наше зыблется. Вы сыны его; я пастырь ваш; мы должны поддержать его, исцелить язвы, которые и прежде недрились в самом сердце его! Обдумайте, решитесь и преклоните колена перед милосердной заступницей нашей, святой Софией.

Феофил кончил и подал знак рукой. Посадник Яков Короб начал читать запросную грамоту великого князя:

– «Осподарь всея земли русския и великий князь московский, владимирский, псковский, болгарский, рязанский, воложский, ржевский, бельский, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондийский и иных земель отчин, и дедич, и наследник, и обладатель, Иоанн Васильевич, посылает отчине своей Великому Новгороду запрос с ближним боярином своим и великим воеводой, Федором Давыдовичем: что разумеает народ его отчины под именем государя вместо господина, коим называли его прибывшие от них послы архиепископские: сановник Назарий и дьяк веча Захарий? Имут ли они желание видеть власть судную в одних его руках и хотят ли присягнуть ему как полному властителю, единственному законодателю и судии не причастному, не иметь у себя тиунов, кроме княжеских, и отдать ему двор Ярославлев, древнее место веча? Если так, то он посылает им милость свою и скоро имеет вступить во владение своих праотцев. Сию запись скрепил печатник печатью великокняжескою, князь Юрий Патрикеев. Писал ее дьяк Анциферов, по реклу² Шершавый».

Далее были прочтены скрепы сановника Назария и дьяка Захария.

Когда посадник окончил чтение этой грамоты, несколько минут народ хранил молчание ужаса, затем уже послышался глухой ропот:

– Это все бояре да посадники мудрят, якшаются с москвитянами, одаряются ими и тайком от нас обсылаются вестями да записями!

– Зачем же вече-то установлено, как не про всех? Что мы черных сотен слобод людишки, так нам и не поверяют умыслы свои! Вот от белых-то и замарались! Дело вышло на разлад, так наши же руки и тянут жар загребать! – слышались там и тут возгласы.

– Как бы не так! Что сами заварили, пусть сами и расхлебывают! – крикнул чей-то зычный голос.

– Кто отвращает лицо свое от блеска меча вражеского, тот недостойн называться гражданином Новгорода Великого! – возвысил голос архиепископ. – Но дело в том. Прение наше должно совершиться во льготу отчизне, иначе месть Божия над нами!

– Владыко святой! – начал тысяцкий Есипов. – Ты сам видишь, что всю судную власть забирает себе наместник великокняжеский. Когда это бывало? Когда новгородцы так низко клонили свои шеи, как теперь перед правителем московским? Когда язык наш осквернялся доносами ложными, кто из нас был продавцом своего отечества? Упадешь? Казнь Божия совершилась над ним! Так да погибнут новые предатели – Назарий и Захарам. Мы выставили князю московскому его оскорбителей, выставь и он нам наших!

– Вестимо так, требуем этого по договорным грамотам! – раздались народные крики.

– Постойте, выслушайте меня, или же я слагаю теперь же сан свой с себя! – заговорил Феофил, возвышая голос, заглушаемый народом.

Из уважения к пастырю душ воцарилось молчание.

Архиепископ заговорил:

² По прозвищу.

– Чьи очи из вас не зрели бедствия, унижения и срама отечества в недавнем времени? Чей слух не был раздираем воплями соотечественников – братьев ваших? Чье сердце, содрогаясь, не соболезнавало в те тяжкие времена? Ваша кровь не совсем еще высохла на стенах крепостных, и вы, кичливые, опять становитесь доступны гордости, самонадеянности и непослушанию; опять даете пищу мечу вражескому, опять хотите утолить жажду его собственной кровью! Проклят тот, кто несправедную силу не отражает силой, но вдвое тот – кто противится правоте.

– Владыко святой, да видит Бог, мы неповинны. Ты сам видишь, на нас напали. Между нами предатели, Иуды! Так бы и Литва не поступила! – снова закричал народ.

– Дети мои, – кратко и величественно отвечал Феофил, – сознавайтесь, чашу горшую должны допить вы за прошедшую вину свою ни чем неискупимую. Не ропщите же, но допивайте ее. Презренные наушники зло хитрят над вами: отклоните от их наветов слух свой, будьте терпеливы и предайтесь на волю Провидения. Мы обошлемся сперва с князем, обвиним предателей и поклонимся ему; предатели же будут наказаны собственным и грозным судом своей совести, а от нас да будут они преданы анафеме! Пойдемте же, преклоните колени перед престолом Всевышнего: это будет священным началом нашего дела!

Он снял клобук, благоговейно перекрестился и пошел.

– Анафема изменникам! – торжественно воскликнул клир.

– Анафема! Да будут преданы анафеме изменники – предатели отечества! – подхватил народ и в стройном порядке отправился за своим духовным владыкой.

Величественную и стройную картину представлял из себя храм святой Софии, основанный князем Владимирским, сыном Ярослава Великого, оставшийся донныне единственным памятником древнего Новгорода, когда благочестивый архиепископ, облаченный в крещатую ризу, с паствой своей преклонил колена перед алтарем и клир умирительно запел молитву: «Царю небесный».

По окончании ее Феофил вдохновенно произнес:

– Царь небесный услышит нас, когда мы dokonчим благословенное начало, но гром Его не замедлит разразиться в противных поступках. Опять повторяю вам: будьте кротки и терпеливы. Видите ли вы в куполе образ Спасителя со сжатой десницей вместо благословляющей? «Аз-бо – вещал глас писавшему сию икону, – в сей руке Моей держу Великий Новгород; когда же сия рука Моя распространится, тогда будет и граду сему окончание».

Растроганный народ начал молиться почивающим в храме мощам святителя Никиты, печерского затворника; благоверного князя Владимира Ярославича и святой благоверной княгини Анны, матери его; приложился к Евангелию, писанному святым Пименом, и иконам Всемиловитого Спаса и премудрости Божьей – Петра и Павла, затем вышел на паперть, поклонился праху архиерея Иоакима и, освобожденный и успокоенный пастырским словом, мирно разошелся по домам.

II. В тереме Марфы

Темная ночь давно уже повисла над землей... Луна была задернута дождевыми облаками, и ни одна звездочка не блестела на небосклоне, казалось, окутанном траурной пеленой. Могильная тишина, как бы сговорившись с мраком, внедрилась в Новгороде, кипящем обыкновенно деятельностью и народом. Давно уж сковала она его жителей безмятежным сном, и лишь изредка ветер, как бы проснувшись, встряхивал ветками деревьев, шевелил ставнями домов и опять замирал.

Вся Никитская улица с своими домами, балаганами и лачужками утопала в непроницаемом мраке. Только в самом конце ее, в продолговатом окошке высокого терема, обращенном во двор, мелькал огонек. Терем этот отличался от других особенным искусством и красотой в постройке, а потому назывался «Чудным теремом».

Его окружал на большое пространство высокий забор с зубцами, а широкие дощатые ворота, запертые огромным засовом, заграждали вход на обширный двор; за воротами, в караулке, дремал сторож, а у его ног лежал другой – цепной пес, пущенный на ночь. Кругом, повторяем, царила мертвая тишина, лишь где-то вдали глухо раздавались переключки петухов, бой в медную доску да завывание собак.

Послышались чьи-то тяжелые уверенные шаги. Кто-то шел вдоль забора и, остановясь у калитки, вырубленной в воротах, отыскал проволоку, продетую сквозь нее и потянул ее к себе.

Раздался тонкий звук колокольчика.

Чуткий пес, давно уже настороживший уши, рывкнул, вскочил, подsunул рыло под подворотню и радостно забил хвостом о землю. Сторож тоже встрепенулся, и с языка его сорвался обычный вопрос:

– Кто идет?

– Свой! – ответил ему не громко, но грубо, поздний гость.

В ту же минуту сторож отскочил от калитки, медное кольцо зазвучало, и незнакомец, тщательно закутанный, перенес свою ногу через высокий порог, оправил полы своего широкого охабня и опять грубым голосом сказал сторожу:

– Тебе, старый леший, сидеть бы на горохе да пугать воробьев. Что так рано пришиб тебя сон? Разве забыл, что должен дожидаться меня?

– Не во гневе твоей милости, господине: от самой боярыни вышел приказ держать ворота на запоре! – отвечал ему сторож.

Вошедший посмотрел на окно терема.

– Что это за огонь в оконнице?

– Должно быть, светец горит, али жирник, а статья может свечи теплятся в образной боярышницей перед ликом праздничной иконы. Завтра ведь праздник Рождества Богородицы.

– Не впрок мне звать о празднествах твоих. Говори, старый плут, не укрывается ли кто у ней? Все ли наши собрались?

– А кто их знает. Я, окромя тебя, да князя Василия Ивановича, никого не знаю. Вишь, ходят все ночью, как тати.

– Скажешь ли ты мне, кто с ней, или я вызову у тебя язык вот этим! – вскрикнул незнакомец и, распахнув полы охабня, показал на кинжал, блеснувший во мраке своей серебряной чешуей.

– Сейчас, боярин, сейчас. Прошел к ней еще о вечерах; в память ли тебе тот чернец-то, что, бают, гадают по звездам? Мудреный такой! Ну, еще боярыня серчала все на него и допрежь не допускала пред лице свое, а теперь признала в нем боголюбивого послушника

Божия? В самом деле, боярин, уж куда кроток и смирен он! Наша рабская доля – поклонись ему низехонько, а он и сам так же.

– Кто бы это? – проворчал сквозь зубы вошедший. – Да это соловецкий пришелец, монах тамошней обители, все оттягивает у легковерной бабы льготы от земель ее на свой монастырь. Ну, я выжму ж его от нее... Он что-то мне подозрителен, – продолжал он вслух высказывать мысли, направляясь к крыльцу терема.

Терем этот принадлежал вдове бывшего новгородского посадника Исаака Борецкого – Марфе.

В описываемую нами ночь она сидела в своей наугольной гриднице, где на широком дубовом столе догорала восковая свеча в точеном костяном светце и освещала передний угол с иконами в богатых окладах. Гридница эта была под сводами и роскошно убрана во вкусе того времени. Стены ее были обиты алым бархатом с раскиданными на нем серебряными и золотыми звездочками, а по бокам воткнуты были красивые позолоченные стрелы, как бы поддерживая эти богатые обои. В глубине гридницы стояло высокое ложе с пышными, шитыми в узор шелками изголовьями, задернутое кружевным пологом.

Марфа Борецкая сидела недалеко от него, важно раскинувшись на лавке, покрытой соболями.

Это была красивая, но далеко не молодая женщина. Покрывало ее, отороченное золото-шелковой бахромой, было немного опущено на лицо, и из-под него мелькали быстрые глаза, особенно когда она повелительно устремляла их на своего собеседника, скромного чернеца, сидевшего перед ней с опущенными долу взорами.

Этот чернец был отец Зосима, еще довольно молодой, настоятель Соловецкой обители.

– Да скажи же мне, отче Зосиме, каким случаем сделалась известна обитель Соловецкая и по чьим следам вошел ты в нее? – говорила Марфа.

– Невидимая рука Божия привела меня в это тихое и уединенное пристанище, – отвечал отец Зосима, – предместник мой, святитель Савватий, бывший инок Кириллова-Белозерского монастыря, искал пустыни, где бы мог укромно возносить молитвы свои к престолу Всевышнего и безмятежно кончить дни свои, пустился странствовать с духовным братом своим Германом. Они отыскиали такое место на диком, уединенном, совершенно безлюдном острове и поселились на нем в 1422 году; там выстроили они себе убогий шалаш под мрачными сводами елей, недоступными солнечным лучам, а подле него часовню и дожили срок жизни своей тихо и благословенно.

– Как же ты переступил рубеж светской жизни? – продолжала допытываться Борецкая.

– Молва и слава о подвигах моего предместника огласилась во всех концах земли русской, сердце мое закипело святым рвением – я отверг прелесть мира, надел власяницу на телесные оковы и странническим посохом открыл себе дорогу в пустыню Соловецкую, обрел прах предместников моих, поклонился ему, и искра твердого, непоколебимого намерения, запавшая мне в душу, разрослась в ней и начала управлять всеми поступками моими. С благословения покойного архиепископа новгородского Ионы, основал я храм и огородил его стенами. Люди чуждые мира стекались ко мне со всех сторон и охотно понесли со мной тяжелый крест, скоро сделавшийся для нас легким; вскоре все избрали меня настоятелем, и это избрание довершил Иона благословением своим и поставил меня в игумены. Мощи святителя Савватия перенесли мы со всем благочинием в обитель, где почивают они и доньне. С тех пор живем мы тихо, миролюбиво, согласно и привольно. Грамотой новгородской предоставлено нашей обители владеть островами Соловецким, Анзерским, Заяцким и другими. Мы, сколько могли, улучшили обитель: питаемся рыбной ловлей и засеянными нашими руками овощами; завели солеварню, провели каналы от потопления и без всякой нужды ожидаем вечности.

– И тебе, отче святой, не взгрустнулось по свету в юные годы твои? Не наскучили труды тяжкие, каждодневные, ни тогда, ни теперь?

– Они-то и не дали места скуке в душе моей, посвященной Богу и трудолюбию. Тогда я был крепче телом, ныне – духом. От молитвы – к трудам, от трудов – опять к молитве. Мне некогда было скучать и кручиниться. На душе было легко, на сердце весело. В часы отдохновения, бывало, выйдешь поразмыслить о своей новой жизни, взглянешь на все окружающее, начнешь созерцать искусство Небесного Художника – и мысли потонут в дивной красоте. Дикое, но прекрасное очарование положительно сковывает тебя: высокие развесы елей, пышными шатрами нависшие и шумно раскачивающиеся над головой, а под ногами мрачное море, по которому ходят бурливые волны, глаз обнимает бесконечную сизую пелену, кипящую сверкающими алмазами при свете дня. Одна мысль, что ты находишься на краю земли, отдаленном от всего мира, возбуждает благоговейные и высокие чувства, не радость и не печаль закрадывается в душу, а что-то необъяснимое, что выше того и другого. Когда же в немом восторге слеза умиления прольется из глаз, упадет на сердце и осветит его, когда душа зарвется из пленной оболочки своей и запросится в мир чудес и света... тогда поймешь этот мир, несравненно более прекрасный, нежели оставленный тобой.

Зосима умолк.

Благоговейно слушала Марфа вдохновенные слова святого мужа и после некоторой паузы растроганным голосом сказала:

– Да, у кого святое тепло на сердце, тому и ничего не хватает; но у кого душа больна...

Она не могла более продолжать и быстро надвинула покрывало на все лицо, чтобы он не прочел в нем движения сердечных дум.

– У кого она страдает светскими помыслами, так ее и многим не удовлетворить: это бездонный сосуд, которого ничем никогда не наполнишь! – отвечал, понявши ее, отец Зосима.

– Истинно верую в слова твои, – начала она опять, успокоившись. – Помнишь ли, праведный отче, когда ты искал покровительства моего от обид двинских жителей. Я владею близ страны, тобой обитаемой, богатыми селами, но я отказала тебе во всякой помощи. Теперь совесть, раскаяние мучит меня.

– Человеку долженствует помнить одно добро; тебя смутил искушитель в образе неверного литвина. Прости меня, боярыня. Хотя ты и чтить его своим суженым, но истина руководствует мной, и я вторично повторяю устами ее: «отжени от себя врага, удались от зла и сотвори благо».

Она сидела с поникшей головой.

– И тогда неправеден был гнев твой, – продолжал Зосима. – Вспомни, сколько щедрот своих излил на тебя законный князь твой: все имущество твое, золото, серебро, камни дорогие и узорочья всякие, поселя со всеми землями и угодьями остались сохранены от алчбы вражеского меча; жизнь твоя, бывшая подле смерти, искупила не чем иным, как неподкупною милостью великого князя московского. Сверх того, сын твой Дмитрий также не обойден был ею и пожалован знатным титулом боярина московского. Чего же недостает ненасытности твоей?

Глаза Марфы блеснули из-под вновь приподнятого ею покрывала.

Было заметно, что напоминание о прошедшем затронуло слабую струну ее сердца.

– Но где же сыновья мои? – воскликнула она. – Один под черным рубищем муромского монаха, быть может, скитается без приюта и испрашивает милостыню на насущное пропитание; другой, – жалованный боярин мой, – под секирой московского палача встретил смертный час! Это ли милость великокняжеская!

Она перевела дух.

– Я призвала тебя и одарила богато, чтобы посоветоваться, как отвратить общую напасть, грозящую всему Новгороду, а ты, пробудив во мне заснувшую было ненависть к

мучительнице-тиранке – Москве, заставляешь еще каяться за то, что я люблю отечество свое и не меняю его перед гонителем сына моего, меня самой, моей родины! Нет. Марфа не укроется, не посрамит себя!

– Много я сказал бы тебе на слова твои, – прервал ее отец Зосима, – но ты, несомненно, слышала уже слова владыки нашего Феофила, а мне остается только домолвить. Я призреваю цель твою, меня не смутят козни любимого твоего Болеслава Зверженовского. Вы хотите властвовать! Но помните: кто выше станет, тот быстрее падет! Любовь всякая, как и твоя к родине, бывает часто слепой. Если ты не желаешь видеть света истины, то отпусти меня – я более не нужен тебе – и дары твои оставь при себе: они тяжелы, не по силам моим.

– Тебя любит народ. Как молитвы твои доступны слуху Всевышнего, так и увещания на подвиги бранные воспаляют сердце каждого новгородца против врагов отчизны! – начала было умиловать его Марфа.

– Я не вижу их! – сказал он равнодушно, вставая со своего места.

– Так благослови же хоть меня на это! – выговорила с заметной досадой огорченная Марфа, поспешно вставая со скамьи.

– Отныне и до века благословляю и заклинаю тебя именем Вездесущего Свидетеля всех дел и помышлений наших, и всеми святыми угодниками новгородскими, и матерью-заступницей нашей, святой Софией, только на добрые дела! – произнес торжественно Зосима и вышел.

– Гордый монах! – прошептала Марфа и в волнении начала ходить по светлице.

III. Клятва

Шаги отца Зосимы не затихали на чугунном полу узких сеней терема Борецкой, как Болеслав Зверженовский – незнакомец, разговаривавший со сторожем, – вошел в противоположную дверь светлицы Марфы, блеснув своим коротким полукафтanjem и ножками кривой польской сабли.

– Здравствуй, боярыня! – сказал он мрачно с заметным неудовольствием в голосе, низко и почтительно кланяясь хозяйке.

– А, это ты, пан! – ласково приветствовала она его, хотя выражение ее теперь почти открытого лица носило следы только что пережитого душевного волнения. – Ну, что нового? Я давно поджидаю тебя!

– Свет наш состарился: что же искать в нем нового? – коротко отвечал он.

– Ночь уже очернила его, теперь он не белый, а во мраке, и в этих случаях, по моему мнению, новостям должен быть урожай, – с ударением на каждом слове проговорила Марфа, усаживаясь на скамью.

– Ты, боярыня, сама была окружена за последнее время чернотой, от которой не спасет тебя и свет, а во мраке – новости мрачные; не спрашивай же о них!

– Что замышляешь ты сказать мне? – озабоченно спросила она, не поняв или не желая понять его намека. – Или худой оборот приняли наши дела, или мало людей на нашей стороне? Возьми же все золото мое, закидай им народ, вели от моего имени выкатить ему из подвалов вино и мед... Чего же еще? Не изменил ли кто?

– Никто, все идет хорошо! – спокойно отвечал Болеслав, садясь возле Борецкой по данному ею знаку.

– С чего же ты такой озабоченный, пасмурный?

– Не дух ли сына твоего, Феодора, до меня являлся проститься с тобою? – ответил он ей вопросом.

– Нет, это был чтимый Зосима, муж разумный, но... несколько... не знаю что и сказать о нем.

– Не в нем дело! – раздраженно прервал он ее. – Ты давно не видала своего сына?

– С тех пор, как московские тираны выволокли его в цепях из родных стен и принудили постричься в Муроме; напрасно я старалась подкупить стражу, лила золото как воду, они не выпустили его из заключения и донныне, не дозволили иметь при себе моих сокровищ для продовольствия в тяжелой иноческой жизни... Но к чему клонится твой вопрос? Нет ли о нем какой весточки? – с трепетным волнением проговорила она.

– Боярыня! – торжественно, громко произнес Зверженовский, поднимаясь с лавки, – будь тверда! Ты нужна отечеству. Забудь, что ты женщина... докончи так, как начала. Твой сын уже не инок муромский, не черная власяница и тяжелые вериги жмут его тело, а саван белый, да гроб дощатый.

– Как?... он... второй?

– Его домучили... Сегодня я узнал об этом достоверно от одного муромца, очевидца его последних минут. Но будь тверда...

Трудно описать выражение лица Борецкой при этом известии; оно не сделалось печальным, взоры не омрачились, и ни одно слово не вырвалось из полуоткрытого рта, кроме глухого звука, который тотчас и замер. Молча, широко раскрытыми глазами глядела она на рокового вестника, казалось, вымаливала от него повторения слова «мечь».

Зверженовский с злобной радостью, казалось, проникал своими сверкающими глазами в ее душу, но также молча вынул из ножен саблю и подал ее ей.

– Значит, ты понял меня? – произнесла она хриплым, сдавленным голосом.

Он кивнул головой и, сложа руки на груди, вопросительно глядел на нее.

– Клянусь острием этой сабли, клянусь кровью и прахом сыновей моих, я изнурю себя, лишусь своего имущества, но уязвлю гордыню московского князя под стенами Новгорода, или пусть погибну под ножами его клеветников, – торжественно произнесла Марфа, размахивая саблей, и глаза ее блистали как сталь, которую она держала в руке.

Картина была достойна великого художника: хитрый поляк с сверкающими злобной радостью глазами, с шершавой головой и смуглым лицом, оттененным длинными усами, казалось, был олицетворением врага и искушителя человечества, принимающего исповедь соблазненной им жертвы.

– Через мой труп перешагнут на тебя твои враги, боярыня, – хвастливо произнес он, – а победа надо мной достанется им дорого.

– А если она будет на нашей стороне?

– Тогда гуляй мечи на смертном раздолье! Весь Новгород затопим вражеской кровью, всех неприязненных нам людей – наповал, а если захватим Назария, да живьем еще, я выдавлю из него жизнь по капле. Мало ли мешал он мне, да и тебе, ни на вече, ни на встрече шапки не ломал. А Захария посадим верхом на кол, да и занесем в его притон – Москву. Нужды нет, что этот жирный бык не бодается, терпеть нам его не след.

– А после, – с восторгом начала Марфа.

– А после, – прервал он ее, – после тебе в руки жезл правления... Казимир твоя правая, а я – левая рука...

Борецкая дико, радостно захохотала.

– Ты... ты, – произнесла она, тихо переводя дух, – ты будешь моим, я твоей... жизнь поделим поровну.

Вдруг в древнем Херсонском монастыре, на Хатуне, занял колокол, брякнул несколько раз и опять замолк; только ветер, разнося дождевые капли, стучавшие по окнам, гудел как труба – вестница чего-то недоброго.

Злоумышленники вздрогнули и переглянулись между собой.

– Что бы это значило? – почти шепотом сказала Марфа. – В глухую ночь кто может взойти звонить на колокольню? Кажется, нам не слышалось?

– Нет, это, должно быть, ветер шевельнул колоколами, – отвечал Зверженовский с расстановкой, прислушиваясь. – Вот опять стало тихо.

– Однако, это не даром... мне что-то жутко! Уж не бунт ли затевается? Кажется, рано. Не предупредил ли нас кто-нибудь?

В это время на дворе заскрипела калитка, залаяла собака и слышались голоса входивших на двор людей.

– Бабушка, бабушка! Мне страшно, не спится что-то, да и грезы все такие страшные, будто ты, – заговорил сквозь слезы, дрожа всем телом, вбежавший десятилетний внук Борецкой, сын ее сына Федора Исакова.

– Что ты, Васенька, чего испужался? – прервала его Марфа, лаская мальчика. – Что такое тебе привиделось?

– Да вот, будто, ты, да пан этот, – ребенок указал рукой на Зверженовского, – хватаете меня мохнатыми руками и хотите стащить с собой в яму, оттуда тятенькин голос слышится, да такой слезливый, и он, будто, сидя на стрелах, манит меня к себе. Кровь из него ручьем хлещет, а глаза закатились. Мне не хотелось прыгать к нему, да вот пан этот так на меня глянул, что я не вспомнил, сотворил крестное знамение, зажмурился, прыгнул, вскрикнув, и проснулся. Вокруг меня темно, и, кажись, наяву, представился мне опять тятя, поглядел на меня так жалобно, к вам сюда кулаком погрозился и пропал. Я хотел выговорить молитву: силюсь, да не могу. Тут оглушил меня звук колокола... Отец-то мой давно уж мне грезится...

– Полно, полно, позабавься, да полакомься гостинцами... и все пройдет, – в смущении заговорила Марфа и высыпала в подол его рубашки из коробки всяких сластей.

Ребенок ушел с пришедшей за ним нянькой.

– Должно, это наши стучат по стенам, а то бы рабы твои остановили незваных гостей! – радостно сказал Зверженовский, заметно ободрившись.

– И впрямь наши, – отвечала Марфа и вместе со своим гостем перешла из гридницы в соседнюю советную палату.

Там, действительно, уже были налицо все их соплеменники: сам тысяцкий Есипов, степенной посадник Фома, посадник Кирилл, главный купеческий староста конца Марк Памфильев, из живых людей³, Григорий Куприянов, Юрий Ренехов в другие старосты концов: Наровского, Горчанского, Загородского и Плотницкого, некоторые чтимые в Новгороде купцы, гости и именитые, наконец, такая же знатная и богатая вдова, как и Марфа, Настасья Ивановна, которая хвасталась, что великий Иоанн, в бытность свою в Новгороде в 1475 году, ни у кого так не был роскошно угощен, как у ней.

³ Обывателей.

IV. Среди спасителей отечества

После взаимных приветствий жданные гости разместились по широким лавкам.

Первая начала Марфа, обратившись к тысяцкому Есипову:

– Что, велемудрый боярин, соглашается ли с нами народ? На нашей ли улице праздник?

– Пока еще будни на нашей улице, боярыня, вот что скажет завтра. Золото, серебро и вино действуют; в хмельном разгуле народ побушевал, потолокся на площади, да и разошелся по домам, – отвечал Есипов.

– Теперь время действовать словами. Вон Феофил как опешил толпу велеречием своим, все пали ниц и заныли об отпущении вины, – заметил посадник Фома.

– Да, он все дело на свой лад настроил, да черно на душе его, так и всем будет: сладко во рту, да горько на сердце отпрыгается! – вставил свое слово Зверженовский.

– Я сама завтра явлюсь перед народом. Он еще помнит меня и поминает, – начала было Марфа.

– Проклятием, – перебила ее Настасья Ивановна. – Я сама слышала намерения, как поносили тебя, боярыня, кляли, позорили того, кто послушает твоих наветов и обещались вымести телом пристанника твоего Софийскую площадь, если он только покажется на ней.

– «Слова без дел, что лук без стрел!» – ваше же русское присловие! – обиделся Зверженовский. – Таковы новгородцы; а как услышат, что земляки мои наготове напасть на москвитян – заговорят другое. Они как рыбы – в худую погоду ищут глубины, а в ясную любят поиграть на солнце.

– Надобно непременно пустить слух, что Казимир стоит за нас и рать его уже выступила против москвитян, – поспешно сказала Марфа.

– Да их, вашу братию, новгородский народ не стал терпеть за обманы и называть челядинцами, голой Литвой, блудливыми кошками и трусливыми зайцами! – заметил один из старцев.

– Небось, на нашей стороне еще много людей, а золото, ласковые слова и обещания перетянут хоть кого. Завтра попробуем счастья новыми посулами, подмажем колеса, и все пойдет ходче, – с веселым, беззаботным смехом произнес Зверженовский.

Слуги в это время внесли и поставили на столы яства и пития, и между долгими разговорами и совещаниями началась попойка. Болеслав Зверженовский, съев конец сладкого пирога и оросив его крепким русским медом, воскликнул первый:

– Многолетие тебе, Марфа Борецкая, нынешняя боярыня и будущая княгиня новгородская.

– Многолетие, многолетие! – подхватили все, и гордая жена, встав, начала раскланиваться во все стороны.

Вдруг ударил колокол, другой, и благовест разлился по всему городу.

Все встрепнулись, как вороны, почуя кровь, думая, что это призыв к бунту и убийствам, но вскоре опомнились, и тысяцкий Есипов сказал:

– Чу... утренья... пора и по домам...

– Нас давеча изумил еще дальний колокол в самую полночь, так завывал, что мы, шедши к тебе, боярыня, индо пригнулись к земле, – вставил один из гостей.

– Да, сильна непогода на Софийском храме, говорят, бурей крест сломило, – добавил другой.

– Ахти! – воскликнул третий, – это, братцы, помяните мое слово, не к добру...

– Ты бы сидел между баб и точил им веретена, когда, ничего не видя, начинаешь уже трястись как осиновый лист, – оборвал его Зверженовский.

Все засмеялись, иные от души, а иные и нехотя вслед за другими.

– Горожане! братия! – начала снова Марфа. – Время наступает, отныне я забываю, что нарядилась женщиной, прочь эти волосы, чтоб они не напоминали мне этого, голова моя просит шлема, а руки меча; окуйте тело мое доспехами ратными, и, если я немного отступлю от клятв моих, залейте меня живую волнами реки Волхова, я не стою земли.

– И мы тоже! – подхватили все.

– Завтра поступаем по общему условию!

– Утро вечера мудренее, – говорили между собою, расходясь, гости.

– Каково же завтра проглянет день?

«Что-то темно! Уж не суждены ли нам вечные сумерки», – думали робкие, и скоро чудный дом Марфы опустел и замолк как могила.

На одном конце стола, покрытого длинной полостью сукна, стоял ночник: огонь трепетно разливал тусклый свет свой по обширной гриднице; на другом конце его сидела Марфа в глубокой задумчивости, облокотясь на стол. Ее грудь высоко вздымалась. Печаль, ненависть, злоба, сомнение о сыновьях сверкали в ее глазах.

– Итак отныне я не женщина, – воскликнула она. – Прочь же эти уборы!

Она сорвала с головы своей покрывало, и две длинные косы, иссиня-черные, как вороново крыло, расплелись и скатились волнами на ее могучие плечи.

Когда волнение ее несколько улеглось, ей представился отец Зосима с коротким и вместе укоряющим взглядом. От сердца ее отлегло, на душе стало светлее и слеза умиления скатилась из ее глаз.

Она вздохнула было с облегчением, но вдруг ее взор упал на лезвие сабли, забытой Болеславом Зверженовским.

Вид этой сабли снова напомнил ей все.

Она схватила косу и мгновенно обрезала ее.

«Свершилось!» – пронеслось в ее голове.

V. Новгородская бывальщина

Багровая заря взошла на небо и бросила свой красноватый отблеск на землю. Настало раннее утро. Погода была переменчива. Порой ветер разгонял облака и показывалось солнышко, то опять оно заволакивалось тучами, черным саваном повисшими над Новгородом.

Снова, как и вчера, ударили в вечевой колокол со двора Ярославова, и пронзительный звук его разлился по окрестностям. Народ, только что успокоенный накануне Феофилом, не знал, как и разгадать причины нового призыва на общественный совет. Улицы заволновались, и ропотный шум толпы все усиливался и усиливался на Софийской площади.

Около самых ворот веча, осажденных со всех сторон народом, стоял старик с длинной, седой как серебро бородой, в меховой шапке с куньей оторочкой и длинными подвязными наушниками, зипун на нем был серый, на овчинном подбое, в руках держал он толстую, суковатую палку, с широким литым набалдашником из меди. Хотя морщины складками облегли его лицо, но глаза, из-под седых нависших бровей, горели огнем юности, особенно когда он, рассказывая про былую старину окружавшим его любопытным, приправлял свой рассказ разными прибаутками, присказками и присловьями и, переносясь на много лет назад, подражал молодецким движениям.

– И что за времена настали нонеча! – говорил он. – Чуть враг за лишком – и поникнут головами так низко, что шапка валится. Со страха, вестимо, искра кажется больше полымя. Износил я на плечах своих десятков семь с золотником годов, и изучился видеть, что черно, что бело. Бывало, кто не слыхал, кто не видал Новгорода Великого далеко? Тот город то-то привольный, то-то могучий! – говаривали и немчины, и литвины, и все иноземные людины: ганзейцы и мурмане, гречины и татары, бывшие в нем не как врага, а как гости, – любили заглядываться на позолоченные главы церквей его, разгуливать по широким улицам и любоваться на площадях и в балаганах всеми товарами заморскими! Тут раскиданы и меха пермские, и полотна фламсендские, и ковры персидские, и соболи сибирские, и камки хрущатые, и бахромы золотниковые, и всякие снадобья хитротканые, и седла азиатские, и камни самоцветные, и жемчуга бурлицкие, и уздечки поборные, и всякие узорья выписные. Всего грудями навалено было перед чужеземными зеваками – отдай деньги и бери добра сколько хочешь, сколько можешь.

В мирное время задает всякий пир на весь мир! Отъедайся, отпивайся душа, ходи стена на стену, али заломы набок шапку отороченную, крути ус богатырский да заглядывайся на красоточек в окошечки косящатые; затронул ли опять кто, отвечай огнем, да копьем, да стрелами калеными, прослышат ли про караван ливонский, али чей-либо ненашенский – удалцы новгородские разом оскачат его, подстерегут и накинута с быстротой соколиной раскупоривать копьями добро, зашитое в кожи, а меж тем – косят часто головы провожатых, как маковинки. Бывало, одурь возьмет, как давно нет дела рукам; ну что, сиди на печи, да гложи кирпичи – разучишься и шевелить мечом; ждешь, не дождешься, когда-то грохнет вечевой колокол, а уж как закатится, любо сердцу молодецкому, вспрыснет его словно живую водою радость удалая. Уж так забьется, так заскачет ретивое, как конь необъезженный в чистом поле, того и гляди, что выскочит в пригоршню. А бились мы с Чудью и с Ямью, и с своими, и с чужими, и морем, и сухим путем, и Наровою, и Волгою, и по Нову-озеру неслошь наше ополчение на несчетных судах. На кого наскочили, тот разведывайся; куда пришли, там и дома. В Кострому ли, в Тверь ли, в Ярославль ли, под Астрахань ли богатую, рады не рады – принимайте гостей, выносите калачей на золотых блюдах, на серебряных подблюдниках, выкатывайте бочки медов годовалых и чокайтесь с ними зазванными пирами; а если хозяева попросят расплаты, рассчитывайся мечами, да бердышами, да бери с них сдачи ушами да головами, а там снимай, удалая дружина, и мчись восвояси. А где лихой народец, как при-

мером сказать бы в ближних пригородах ливонских, да еще где застанешь его не врасплох и выступят против тебя хозяева-то в железных обручах, да начнут пересыпаться с гостями своим свинцовым горохом, затепливай скорей его лачугу со всех четырех сторон и тут-то вот и привольно бывает погреться: шум, гам, гик, вопль, стены трещат, рушатся, растопленное железо рекой течет, а люд словно воск тает. Натешилась душа, и заливай пожарище вражеской кровью; ведь как булат разогреется, от него пар валом валит, острие притупится хлестать по телам да по костям, а еще хочется. Ведь это не то, чтобы мы напраслино нападали на соседей, и они при случае не спустят. Обоз ли отбит у наших, девушек ли захватит, золота ли без счета пограбит, да передувив стариков и малых детей – это им обычно; да не удавалось проклятым в частую, как нам приходилось, напрашиваться не в любые для них гости. А как опять мировая, так и мы бывало придерживаемся присловья: «В поле враг, дома гость, садись под святые⁴, починай седову; в лесу – кистенем, а в саду – огурцом». И ведется речь любезно, и ходим об руку попарно, и любят, не насмотрятся наши гости, как красуется град наш, а в нем рдеют девицы красные, да разгуливают молодцы удалые, и бросаются им всякие диковинки редкие, и стали звать, прозывать его давно-предавно, чуть прадеды помнят, и чужие и свои славным, богатырем, Великим Новгородом.

Взоры слушателей, впившиеся в рассказчика, сверкнули огневой отвагой, а старик, откашлинувшись, продолжал:

– И ноне придерживаются этого старики, да не обеими руками, с тех пор, как Иоанн московский залил наши поляны родной нашей кровью. Все как-то пошло на разлад: старики шатаются от старости, молодые трясутся от страха, а родина гибнет. Молодечество⁵ иные стали считать делом зазорным, а по силе грамот отнимать – это им нипочем. Укажите-ка мне, кто теперь поспорит, постоит и словом, и делом, и языком, и плечом за отчизну. Разве один Чурчила с своими удалыми удалцами! Если бы ономясь не отшатнулся бы он добывать добра в Ливонию, в замок Гельмст, попятил бы московскую дружину так, что некому было бы и до Москвы добежать. Он хоша и не словесен, да рука-то его речиста, что твой кистень.

– Краснобай ты, старинушка, но кривы уста твои, да нас-то по что избидел ты? Чем мы не молодцы? Загуди только труба воинская, все побратаемся скинуть головы свои или вражеские, выменять на косную жизнь, на славную смерть! – воскликнули окружавшие старика.

– Все красно, ребяташки, да не так как солнце! – возразил он. – Прежде бывало, московские князья засылали к нам гонцов и велеречиво просили через них подмоги. Дмитрий Иоаннович не знал, как чествовать нас, когда на Куликовом поле čtyредесять тысяч новгородцев отстаивали Русь против поганой татарвы, хоть после и озлобился на нас, что мы въяве и без всякого отчета стали придерживать своего самосуда, да делать нечего, из Москвы-то стало пепелище, так выжгли ее татары, что хоть шаром покати, не за что зацепиться; кой где только торчали верхи, да столбы, да стены обгорелые. Видно, понадобилось ему золото новгородское – подступил. Мы не прочь, выбирай любое: деньги али битву. Взял первое, да и пошел отстраиваться, а к нам-то татары никогда и ноги не заносили неприязненно. Собе-рем дань, пошлем в Москву, и разделявайся ей московский князь с ордой, как рассудит. Нынешний-то лих что-то, а то, бывало, указывали мы путь обратный и московской в литовской дружинам; вольница-то новгородская не очень робела и тех и других. Как послышим: поднимается на нас враг – и в ус не дуем; каждый новгородец накинёт шапку молодецки на одно ухо, подопрется и ходит козырем; по нем хоть трава не расти, готов и на хана и на пана! Вам грозят, а на вече голосят: не спугнешь ножами, когда ножа не боимся. Впервые, что ли, нам слушать угрозы московские? Кассы наши полны, закрома тоже, да и железное

⁴ В передний угол.

⁵ Разбой.

снадобье отпущено. Что нам? Мы своих боярей имеем, нам свои грамоты оставлены Ярославом Великим, ссылаемся на них, да на крепкие головы земляков своих – и с нами Бог, умрем за святую Софию.

– И вестимо! – подхватили слушатели. – Московский князь нас не поит, не кормит, а нас же обирает: что ж нам менять головы на шапки. Званных гостей примем, а незванных проводим. Умрем за святую Софию!

VI. Чурчила

Гулко раскатились эти крики по площади и послужили как бы призывом для рослого и плечистого молодца. Он не вбежал, а скорее влетел в толпу.

Невысокая бархатная голубая шапка с золотым позументом по швам, с собольим околышем и серебряной кисточкой на тулье, была заломлена ухарски набок; короткий суконный кафтан с перетяжками, стянутый алым кушаком, и лосиная исподница виднелись на нем через широкий охабень, накиннутый на богатырские плечи; белые голицы с выпушкой и кисой с костяной ручкой мотались у него на стальной цепочке с левого бока; черные быстрые глаза, несколько смуглое, но приятное открытое лицо, чуть оттененное нежным пухом бороды, стройный стан, легкая и смелая походка и приподнятая несколько кверху голова придавали ему мужественный и красивый вид.

– Чурчила! Чурчила! Отколе тебя Бог принес? Легок на помине!.. Ну, что, как живешь-можешь? – раздавались радостные приветствия в толпе.

– Да живется, братцы, как живется, а может, как может! – отвечал душа новгородских охотников⁶, снимая шапку и раскланиваясь на все стороны.

– Где побывал, добрый молодец, что последним поспел на совет наш? – спросил его старик рассказчик.

– Земляки знают меня, – отвечал Чурчила, – на схватке я бываю не последним, а думу раздумывать, сознаюсь прямо, не моего ума дело, да и о чем?

– Знаю тебя, отъемная голова! – заметил старик. – В кого ты уродился, – дедовский в тебе нор. Таков был и Абакунов при Дмитрие Иоанновиче, предводитель вольной шайки новгородской; он тоже всегда молчал, зато красно и убедительно говорил его меч-кладенец.

– Таперича надо и раздумать, – вставил один видный парень из толпы. – Скажи, Чурчила, на какую сторону более склоняется твое ретивое?

– Вестимо, к родине лежит, – твердо ответил он, – и за нее куда придется, в огонь или в воду, в гору или в пропасть, за кем бежать и кого встречать, – я всюду готов.

– А мы за тобой! – воскликнули окружающие. – Хватайся, ребята, за палку, кинем жребий, кому достанется быть его подручным...

– Постойте, не спешите, ваша речь впереди, – остановил их старик и, обратившись к Чурчиле, расправил свою бороду и сказал с ударением. – Ты, правая рука новгородской дружины, смекни-ка, сколько соберется на твой клич, можно ли рискнуть так, что была не была? Понимаешь ты меня – к добру ли будет?

Чурчила молчал.

Старик пристально посмотрел на него и добавил:

– Ведомо ли тебе, что весть залетела недобрая в нашу сторону? Московская гроза, вишь, хочет разразиться над нами мечами и стрелами, достанется и на наш пай.

– Так вы об этом призадумались, об этом разболтали языком вечего колокола? – вместо ответа, с презрительным равнодушием спросил Чурчила. – Я ходил в Чертову лощину, ломался там с медведем, захотелось к зиме новую шубу на плечи, али полость к пошевням, так мне недосужно было разбирать да прислушиваться: о чем перекоряются между собой степенные посадники.

– Подай, вишь, Москве на огнеметы⁷ перелить наш колокол, да на сожженные законные грамоты наши, а после...

⁶ Охотниками прозывали молодцов, промышлявших набегами на соседние земли.

⁷ Пушки.

– Широко шагают, – вспыхнул Чурчила, прервав старика, – не видали мы их брата-супостата. Что нам вече – тинистое болото, в котором квакают лягушки, что им вздумается. За пригоршню золота да за десяток ядер отступятся от прав своих. Так что же вы, братцы, не рассудите до сих пор, – окинул он всех быстрым огненным ответным взглядом. – Мы-то что-ж? Пусть их звонят, и колоколом и языками... Нам то любо. Слышь, трезвонят. Вот так, качай во всю и припляснуть можно!.. Что уж давно звонили?.. А свыклись мы с этим раздольным голосом: так и подступает к сердцу смертная охота рвануться на целую ватагу, – а то ведь и мертвым стало не в чем позавидовать живым. Облежались мы до пролежней без всякого дела... Давайте же руки, братцы, жмите крепче, до слез. Пусть бояре хитроумничают, а мы затеем свое дело... Кто за мной?

– Мы все за тобой, удалой молодец! – закричал народ, – пойдем мечи острить!

Толпа с воинственным криком кинулась вслед за Чурчилой, почти бежавшим по площади.

– Прямой сокол, – заметил, глядя ему вслед старик, – ретивое у него доброе, горячо предан родине... Кабы в стадо его не мешались бы козлы да овцы паршивые, да кабы не щипала его молодецкое сердце зазнобушка, – он бы и сатану добыл, он бы и ему перехватил горло могучей рукой так же легко, как сдернул бы с нее широкую варежку.

VII. Вече

На вече, между тем, в обширной четырехугольной храмине, за невысоким, но длинным столом, покрытым парчовой скатертью с золотыми кистями и бахромой, сидели: князь Гребенка-Шуйский, тысяцкий, посадники и бояре, а за другим – гости, житые и прожитые люди.

На столах были накинаны развернутые столбцы законов, договорных и разных крестовальных грамот. Не всех желающих видеть это собрание, слышать совещание допустили внутрь вече, так как там уже и без того было тесно.

Два копейщика с секирами в руках охраняли двери, около которых на дворе и на площади, как мы уже видели, толпилось громадное количество народа.

Князи Василий Шуйский-Гребенка с тысяцким Есиповым, в бархатных кожах с серебряными застежками, сидели на почетном месте в середине стола, возле них по обе стороны помещались посадники Фома, Кирилл и другие.

Марфа, важно раскинувшись на скамье с задком, в дорогом кокошнике, горящем алмазами и другими драгоценными камнями, в штофном струистом сарафане, в богатых запястьях и в длинных жемчужных серьгах, с головой полуприкрытой шелковым с золотой оторочкой покрывалом, сидела по правую сторону между бояр; рядом с ней помещалась Настасья Ивановна, в парчовом повойнике, тоже украшенном самоцветными камнями, в покрывале, шитом золотом по червачному атласу, и в сарафане, опушенном голубой камкой. Сзади них стоял Болеслав Зверженовский, в темно-гвоздичном полукафтани, обложенном серебряной нитью.

Вокруг них толпился народ, успевший проникнуть в храмину. Подьячий Родька Косой, как кликали его бояре, чинно стоял в углу первого стола и по мере надобности раскапывал столбцы и, сыскав нужное, прочитывал вслух всему собранию написанное. Давно уже шел спор о «черной, или народной, дани». Миром положено было собрать двойную и умиливать ею великого князя. Такого мнения было большинство голосов.

Возражать встала Марфа Борецкая.

– Честные бояре и посадники! – сказала она. – Думаете ли вы этим или чем другим, даже кровью наших граждан, залить ярость ненасытного? Ему хочется самосуда, а этой беды руками не разведешь, особенно не вооруженными.

– Этого мы и в уме не хотим держать! – прервал ее Василий Шуйский, ее личный враг, но и верный сын своей родины. – Разве его меч не налегал уже на наши стены и тела? Я подаю свой голос против этого, так как служу отечеству.

– Он не служит, а подслуживает! – шепнул Марфе Зверженовский.

Последнюю обдало, как варом, несогласие сие с ней Шуйского.

– Князь, – воскликнула та, сверкнув глазами. – К чему же и на что употребляешь ты свое мужество и ум? Враг не за плечами, а за горами, а ты уже помышляешь о подданстве.

Князь Василий в свою очередь распалился гневом, заметя ее сношение с Зверженовским.

– Мы верили тебе, боярыня, да проверились, – заговорил он. – И тогда литвины сидели на вече чурбанами и делали один раздор! Я сам готов отрубить себе руку, если она временно подпишет мир с Иоанном и в чем-либо уронит честь Новгорода, но теперь нам грозит явная гибель... Коли хочешь, натыкайся на меч сама и со своими клеветами.

– Но и самосуда мы не потеряем! Сколько веков славится Новгород могуществом своим и каким же ярким пятном позора заклеим мы его и себя, когда без битвы уступим чужестранным пришельцам те места, где почивают тела новгородских защитников и где положены головы праотцев наших! – важно сказал Есипов.

– Боже сохрани и слышать об этом! – воскликнул Шуйский. – Первая рука, которая протянется за нашей хранительной грамотой, оставит на ней пальцы. Но зачем же самим заводить ссору?

– Да исчезнет враг! – раздались возгласы посадников и народа.

– Родька, – сказал тысяцкий, обращаясь к подьячему, – прочти-ка еще помедленнее запись великого князя.

Все снова ужаснулись и даже самые мирные граждане, расположенные к великому князю, повесили головы.

– Ишь, требует веча! Самого двора Ярославлева. Мы и так терпели его самовластие, а то отдать ему эти святилища прав наших. Это значит торжественно отречься от них! Новгород судится своим судом. Наш Ярослав Великий завещал хранить его!.. Месть Божья над нами, если мы этого не исполним! Московские тиуны будут кичиться на наших местах и решать дела и властвовать над нами! Вот мы предвидели это; все слуги – рабы московского князя – недруги нам. Кто за него, мы на того!

– Проклятие, проклятие двоедушным косноязычникам Назарию и Захарию. И когда мы общались через них с московским князем? Это голья лишь! Анафемы! Сам владыко произнес это.

– Да что владыко? Он за князя подает голос, стало быть, против нас!

Такие были разнообразные возгласы народа, подстрекаемого Марфой и ее сообщниками.

Лишь немногие члены веча задумчиво молчали.

Начавшийся нестройный шум голосов вызвал владыку Феофила, который, пробравшись сквозь почтительно расступившуюся перед ним толпу, воскликнул:

– Необузданные мятежники! Зачем же вызвали вы меня из моей смиренной кельи на позорище мятежа? Нет вам моего благословения; делайте, что хотите. Горе вам, непослушные! на начинающих – Бог!

Голос его был заглушен дикими криками, и он быстро удалился, всплеснув руками.

– Суетливая земля! – был его заключительный возглас.

Тогда воспрянула Марфа. Шуйского она не так опасалась, как Феофила, но, заметив и к последнему холодность народа и победу горластых сообщников, она громко и оживленно заговорила:

– Настало время управиться с Иоанном! Он не государь, а лиходеи наш. Великий Новгород сам себе властелин, а не его вотчина. Казимир польский возьмет нашу сторону и не даст нас в обиду, митрополит же киевский, а не московский, даст архиепископа святой Софии, верного за нас богомольца.

Эти слова вызвали у толпы восторженные крики одобрения, начало которым дали, конечно, клеветы Марфы Посадницы.

VIII. Бунт

Между людьми, не принимавшими сторону бунтовщиков, находились: знатный муж Василий Никифоров, боярин Захарий Овин, брат его Кузьма Овин и несколько других, лично доброжелательно относившихся к Иоанну и ценивших его за ум и энергию. Они держали его сторону, и Василий Никифоров обратился к народу:

– Братья, одумайтесь, что вы замышляете? Изменить Руси и православию, поддаться иноплеменному королю, просить себе от еретика латышского святителя и этим накликать на себя и гнев Божий и государева правосудия меч? Вспомните, предки наши, славяне, вызвали из земли вражеской Рюрика, он княжил мудро и славно, что видно из преданий, а кровные потомки его более шести веков законно властвовали над Великим Новгородом. Истинной же и православной верой обязаны мы святому Владимиру, а от него прямо происходит и Иоанн, латыши же всегда были нам неверны и ненавистны. Рассудите: к кому же более должны мы обращаться сердобольно и молить о милостях?

Увидя, что эти слова Василия Никифорова, шедшие прямо из сердца, и крупные слезы, катившиеся на его седую бороду, начали трогать слушателей. Марфа, поддерживаемая своими, воскликнула:

– Ты, злой кудесник, давно связался с Ивашкой на погибель своих соотечественников и хитро ведешь свои сладостные речи, чтобы заманить и нас в свои сети. Исчезни, коварный старик! Да обратится на тебя все зло, которое ты готовишь нам.

– Да оглушит тебя гром Божий, жена дьявола! – громко заговорил было Василий Никифоров, но сам был оглушен восклицаниями:

– Не хотим Иоанна, да здравствует Каземир! Да исчезнет Москва!

Небольшая кучка защитников Иоанна отвечала криками:

– Не хотим Каземира! Да здравствует Иоанн!

Марфа, выйдя с клеветами из храма на Ярославов двор, распорядилась рассыпать народу несколько четвериков пуль⁸, раздать по оловяннику⁹ меда на брата и подала знак, по которому туча камней полетела на ее ослушников. Иные, сраженные, падали, другие разбежались, а крики толпы становились все громче.

– Хотим за короля, меч на Иоанна!

– Хотим к Москве православной, к Иоанну и отцу его Герантию!¹⁰ – прокричал на Софийской площади Василий Никифоров, насилу выбравшийся на нее, расчистив себе путь мечом, но голос его остался без отголоска.

Явилась щедрая Марфа со своей челядью и обратилась к народу:

– Если вы, мужья, к великому позору Великого Новгорода, откажетесь биться с москвитянами, то ступайте сторожить и прятать имущество свое от разбойничьей роты Иоанновой; а мы, жены, пойдем на бойницы и будем защищать вас, робких мужей!

Народ или, вернее сказать, толпа бунтовщиков, возбужденная хмелем, стыдом, жаждой мщения, остервенилась.

– Повели, боярыня, на кого нам? Что начать?... Вольные новгородцы не посрамят себя!..

– Казнь изменникам! Они согладатаи и предатели отечества! – воскликнула Марфа, указывая на Василия Никифорова.

В миг неистовая толпа ринулась на него, вцепилась в него десятками рук и потащила снова на вече, нанося чем попало ему удары.

⁸ Новгородское тесто того времени.

⁹ Оловянная кружка.

¹⁰ Митрополит московский, бывший после Св. Филиппа.

– За что и куда потащите вы меня так позорно, как татя? – слабым голосом говорил мученик.

– Ты соглядатай, ты предатель, ты изменник, ты Иуда! – кричала толпа.

– Нет, видит Бог, я прав; кровь моя останется на вас и когда-нибудь сожжет ваши души, совесть заглохнет вас, богопротивники, и тебя, гнусная жена-змея!.. Я клялся Иоанну в доброжелательности, но без измены моему истинному государю, Великому Новгороду, без измены вам, моим брат...

Он не успел окончить. Убийственный топор звякнул, и голова его отскочила от туловища, и покатилась по песку, чертя по нему кровавые следы. Некоторые дрогнули, другие же, остервенясь еще более, продолжали волочить по площади обезглавленное тело, схватили Захария Овина, брата его Кузьму и убили их обухом топора.

Оба умерли почти не вскрикнув.

Началась дикая расправа над их телами: толпа тешилась, рубя их на куски, и любовалась зрелищем, как эти окровавленные куски прыгали под саблями и топорами.

Бросились расхищать балаганы и лавки на Славковой улице. На дворе архиепископском тоже грабили и сажали в застенки¹¹ подозрительных людей, которых тут же без допроса и суда убивали.

Усталые от кровавой работы подходили эти люди-звери к выставленным для них догадливой Марфой чанам с брагой, медом и вином: кто успевал – черпал из них розданными ковшами, а у кого последние были вышиблены в общей сумятице, те черпали окровавленными пригоршнями и пили это адское питье, состоявшее из польской браги и русской крови.

Шум, ропот, визг, вопли убиваемых, зазданные окрики, гик, смех и стон умирающих – все слилось вместе в одну страшную какофонию. Ничком и навзничь лежавшие тела убитых, поднятые булавы и секиры на новые жертвы, толпа обезумевших палачей, мчавшихся: кто без шапки, кто нараспашку с засученными рукавами, обрызганными кровью руками, которая капала с них, – все это представляло поразительную картину.

– Ты что же, сокол, стоишь без дела и не бьешь изменников? Или и тебе крылья перешибли? – спросил знакомый уже нам старик-балагур, столкнувшись нечаянно с Чурчилой, томно и задумчиво смотревшим на ужасную картину побоища.

– Я люблю биться, а не бить! – ответил ему мрачно тот и, отвернувшись, быстро пошел в другую сторону.

– Постой, я понимаю тебя, молодец! Подумаем-ка вместе. Мы не этого ждали, – сказал старик, догоняя его.

Побоище продолжалось. Иной дрался поневоле. Быть безучастным зрителем было небезопасно, могли как раз принять за изменника. Не скоро руки палачей устали наносить удары, наступивший вечер не разогнал их. Кто-то догадался посвятить им: зажгли дома убитых, и страшное пламя, откидывая на небо багровое зарево и наводя грозные тени на двигавшихся во мраке убийц, придавало этой картине вид еще ужаснее, еще поразительнее.

– Вот так в случае и весь город запалим! Пусть московитяне поживятся головнями нашими вместо золота! – раздавались со всех сторон возгласы.

Марфа Борецкая со своей шайкой была на площади до позднего вечера, тайно прислушиваясь к все еще продолжавшимся крикам и стонам, результатам ее адской работы.

Все они то и дело натыкались на мертвые тела.

Болеслав Зверженовский, шедший рядом с Марфой, чуть было не упал, споткнувшись обо что-то круглое.

Он нагнулся и поднял за волосы голову.

Блеснувшее зарево осветило ее – это голова Василия Никифорова.

¹¹ Тюрьма.

– Вот он, враг-то наш, у нас теперь не ослабляется, – со смехом произнес он, поднося ее Борецкой.

Она взглянула. В закатившихся, полуоткрытых глазах мертвой головы она, почудилось ей, прочитала страшный упрек. Дрожь пробежала по всему ее телу. На лбу выступил холодный пот.

– Пора, давно уже ночь, – робко промолвила она, как бы пораженная нависшим над ней мраком, и быстро пошла по направлению к своему дому.

Взгляд мертвых глаз, казалось, преследовал и подгонял ее.

IX. В келье Феофила

Неистовства толпы еще продолжались несколько дней.

Вольный народ, то есть, чернь новгородская, перед которой трепетали бояре и посадские, бесчинствовала, пила мертвую, звонила в колокола и рыскала по улицам, отыскивая мнимых слуг и советников Иоанновых и расхищая у слабых последнее достояние. Дрались на смерть между собой из-за добычи.

Новгородские сановники, принимавшие вначале сами участие в бунте, опомнились первые, хотя и у них в головах не прошло еще страшное похмелье ими же устроенного кровавого пира. Их озарила роковая мысль, что если теперь их застанут врасплох какие бы то ни было враги, то, не обнажая меча, перевяжут всех упившихся и овладеют городом, как своею собственностью, несмотря на то, что новгородская пословица гласит: «Новгородец хотя и пьян, а все на ногах держится».

Многие держались уже только на руках.

Задумались люди сановитые, стали собираться каждый день на вече, почесывали затылки, теребили свои бороды и, наконец, решили – бить челом владыке Феофилу, чтобы он благословил принять на себя труд голосом духовного слова не только успокоить неистовую толпу, но и запретить народу, под страхом проклятия, отлучения от церкви, гнева Божия и наказания, буйствовать и разбойничать.

Жребий вести речь владыке выпал на степенного посадника Фому, прочие же бояре и посадники решили сопровождать его. Не теряя времени отправились они пешком в смиренную келью архиепископа. Не доходя еще до двери его, они обнажили головы, а войдя в нее Фома отделился от них, пошел вперед и обратился с просьбой к привратнику, чтобы он сказал келейнику, что бояре и посадники и все сановитые и именитые люди новгородские просят его доложить владыке, не дозволит ли он предстать им перед лицом своим и молить его скорбно и слезно об отпущении многочисленных грехов их перед ним.

Через некоторое время архиепископ Феофил вышел сам на крыльцо и строго обратился к ним:

– Да рассыплются племена нечестивые, ищущие брани, и будут поражены молнией небесной и, как псы голодные, лижут землю своими языками! Чего еще хотите вы от меня?

– Благодушный пастырь наш! – отвечал за всех Фома, преклоняя колена. – Человек рожден со страстями. Молим тебя, праведный, обрати гнев на милость, спаси Великий Новгород – он гибнет.

Слезы брызнули из его глаз, и он, окончив свою речь, низко опустил свою голову.

– Безумные, вы сами просили этого... Спасение града нашего в руке Божьей. Покайтесь! Я могу только умиловать Его, соединяя свои молитвы с вашими, – заметил тронутый Феофил.

– Этого и жаждем мы, владыко святой. Воззри на раскаивающихся, благослови начинание наше и помоги нам, – молящим тоном произнес Фома.

– Дети мои, – заговорил архиепископ тихим ласковым голосом, после некоторой паузы, обведя всех стоявших перед ним пронизательным взглядом, – знаю, что дух и плоть – враги между собой. Тесно добродетели уживаться в этом мире срочном, мире испытания, зато просторно будет в будущем, безграничном. Не ропщите же, смиритесь: претерпевший до конца спасен будет – говорит Господь. Но вы сами возмущаете, богопротивники, братьев своих и надолго ли раскаиваетесь?

Пристыженные сановники молчали.

Он продолжал:

– Думаете ли вы, что я не сочувствую вам в общей горести и гибели отечества? Разве забыли вы мои услуги ради его? Не я ли выпросил у московского князя гибнущие права наши и настоял: быть Новгороду Великим? Вы сами положили начало той язвы, которой теперь страдаете. Сколько раз я внушал вам благие мысли: смиритесь – и все дастся вам, и успехом увенчаются дела ваши, а вы как исполняли слова мои, как угождали святой Софии? Разве так подобает защищать его – распрями и убийствами? Я сделал все, что возлагает на меня сан мой, рвение и любовь к отчизне. И мое сердце кипит любовью к ней под черной рясой, но я сомневаюсь в вас, в вашем послушании.

– Будем послушны вовеки, – воскликнули в один голос присутствующие и преклонили свои головы.

Архиепископ осенил их крестным знамением и пригласил к себе для совещания.

Вечевой колокол все еще заливался, кровь лилась на площадях.

В одном месте черпали вино из полуразбитых бочек шапками, в другом рвали куски парчи, дорогих тканей, штофов, сукна и прочих награбленных товаров, как вдруг с архиепископского двора показался крестный ход, шедший прямо навстречу бунтовщикам; клир певчих шел впереди и пел трогательно и умиленно: «Спаси, Господи, людей Твоих». Владыко Феофил, посреди их, окруженный сонмом бояр и посадников, шел тихо, величественно, под развевающимися хоругвями, обратив горе свои молящие взоры и воздев руки к небу.

Пораженные как громом, бунтовщики окаменели и остались неподвижно в тех позах, в которых застало их это чудное видение.

Руки, державшие добычу, замерли на минуту, затем поднялись для молитвы, шапки покатались с голов, но толпа не смела поднять глаз и, ошеломленная стыдом, отшатнулась и пала на колени, как один человек.

Архиепископ, молча, не взглянув на народ, не удостоив его благословения и не допустив приложиться к Животворящему Кресту, прошел к соборному храму св. Софии, помолился у золотых ворот его. Так называются медные, вызолоченные ворота, по народному преданию, вывезенные из Корсуни или Херсонеса, – они находятся на западной стороне церкви, – знаменитая древняя редкость, сохранившаяся до последних дней.

После краткой молитвы у этих ворот процессия тронулась к городским стенам.

Х. Ответ великому князю

Прошло еще несколько дней.

Софийская площадь очистилась. Мертвые тела положили на носилки и похоронили по христианскому обряду за городским валом, колокола замолкли, и вече перестало представлять собой простую мирскую сходку.

На первом месте в храме заседал архиепископ, возле него тысяцкий Есипов, князь Василий Шуйский, посадники Фома, Кирилл и другие. Марфа же с Настасьей Ивановной уехала посетить свои села, находившиеся вблизи Соловецкой обители.

Великокняжеского посла, боярина Федора Давыдовича, жившего на Городище с многочисленной дружиной, чествовали, как подобает, ни чем не обижали, только не допускали на вече и решились отпустить к великому князю с запиской от имени веча Новгородского.

– Люди новгородские! – сказал Феофил, – я написал ответную грамоту в Москву, останетесь ли вы довольны ею?

Подьячий Родька Косой начал громко читать ее, поглаживая свою бороду:

– «От Веча Великого Новгорода к Великому Князю Московскому и проч. ответная грамота:

«Кланяемся тебе, Господину нашему, Князю Великому, а государем не зовем. Суд твоим наместникам оставляем на стороне, на Городище, и по прежним известным тебе условиям; дозволяем им править делами нашими, вместе с нашими посадниками и боярами, но твоего суда полного и тиунов твоих не допускаем и дворища Ярославлева тебе не даем; хотим же жить с тобою, Господином, хлебосольно, согласно, любезно, по договору, утвержденному с обеих сторон по Коростыне, в недавнем времени».

«Кто же тебе предлагает быть государем нашим, Великого Новгорода, тех самих ведаешь, и то, как подобает наказывать за криводушие. Мы здесь также управились со своими предателями, и ты не взыскивай с нас за самосуд, данный нам предком твоим, Ярославом Великим, каковым мы нынче и воспользовались, сиречь, в силу одного дозволения, не преступая нашей к тебе чтимости и покорности».

«Молим и взываем к тебе, Господин, всеусердно и всеуниженно: держи нас по старине, по крестному целованию; и мы всегда будем верными слугами тебе, и отчизне твоей Великому Новгороду».

Руки приложили: владыка Великого Новгорода, архиепископ Феофил, тысяцкий Ксенофонт Есипов, новоизбранник дьяк Тит, по реклу Остапов и проч.

– А если Иоанну не понравится наше послание? – заметил князь Шуйский, – чего должны ожидать тогда?

– Битвы, – почти в один голос отвечали Есипов, Фома, Кирилл и другие.

Архиепископ задумчиво молчал. Он чувствовал, что не уговорить ему своих сограждан к безусловному подданству, да и самому тяжело было решить все лишь в пользу Иоанна.

– Но в силах ли мы бороться с ним? – понизив до шепота голос, промолвил дьяк Ксенофонт.

Никто не отвечал.

– А уж когда он одолеет нас, – прибавил он, – много резни будет, досыта насытятся меч его кровью новгородской. Надобно чем-нибудь отвести эту грозу великую, черную...

– Красную, кровавую и непреодолимую, – продолжал его мысль посадник Фома. – На нас она покатится, над нами и разразится! Тогда я первый не скрываю своего намерения поддаться Литве.

Молодой парень, слушавший с прочим народом мнения бояр, стоял в углу храма и давно уже с досады кусал губы и рвал оторочку своей шапки.

Последние слова о подданстве Литве, произнесенные Фомой, заставили его вздрогнуть. Он сбросил с себя охабень и быстро вышел вперед, окинул всех присутствующих орлиным взглядом своих глаз, сверкающих и блестящих, как полированный лист.

– Владыко святой, – начал он взволнованным голосом, – и вы все, разумные, советные мужики новгородские, надежда, опора наша, неужели вы хотите опять пустить этих хищников литовцев в недра нашей отчизны? Скажите-ка, кто защитит ее теперь от них, или от самих вас? Разве они не обнажили уже не раз перед вами черноту души своей, и разве руки наши слабы держать меч за себя, чтобы допускать еще завязнуть в этом деле лапами хитрых пришельцев?

– Мальчик! – возразил ему Фома с заметным неудовольствием, – что же ты нашел противного в литовцах, что у них волчьи зубы или лисьи хвосты?

– И то, и другое, чтимый муж, если хочешь, чтобы мальчик вразумил твои седины! – отвечал ему гордо молодец.

– Чурчила, ты забываешься, так иди же вон отсюда немедленно! – закричали в один голос Фома и Кирилл.

– Уйду и унесу с собой ретивое, которое бьется любовью к родине так же сильно, как рука эта будет вертеть головы ваших заступников – челядинцев, и это так же верно, как то, что я называюсь Чурчилой! – сказал пристыженный и взбешенный витязь Новгорода и, натянув голицу свою, сжал кулак и быстрыми шагами вышел из веча.

– Я говорил тебе, что этот мальчик вреден и языком и кулаком своим Новгороду. Слава Богу, что я это узнал вовремя! – заметил нахмурившись Фома Кириллу.

– Он пылок, но добр. Однако здесь не время и не место объясняться о нем; теперь приходится всякому думать о себе, – с досадой ответил ему Кирилл.

– На сей раз довольно! – сказал владыко, вставая со своего места.

На его лице ясно отпечатывались следы глубоких дум.

Все встали за ним.

Колокол ударил несколько раз, означая окончание заседания, и народ, трепетно, с каким-то вещим, недобрый предчувствием смотрел на бояр, тихо и задумчиво расходящихся по домам.

XI. На берегу Волхова

Ярко и весело светил месяц на землю, звездочки при нем чуть искрились, то пропадали, то снова сверкали в темной синеве горизонта, как резвые рыбки в чистой воде блистают своей серебристой чешуей.

В Новгороде ярко горели огни, но мрак вечера давно уже сгущался; наступила ночь, светлая, роскошная. Огни один за другим стали потухать, и скоро вечно живой город, слившись с горизонтом в один бледный свет, затих и заснул.

На берегу реки Волхова сидел, пригорюнившись, добрый молодец. С правой стороны его стоял оседланный конь и бил копытами о землю, потряхивая и звеня сбруей, слева – воткнуто было копье, на котором развевалась грива хвостатого стального шишака; сам он был вооружен широким двуострым мечом, висевшим на стальной цепочке, прикрепленной к кушаку, чугунные перчатки, крест-на-крест сложенные, лежали на его коленях; через плечо висел у него на шнурке маленький серебряный рожок; на обнаженную голову сидевшего лились лучи лунного света и полуосвещали черные кудри волос, скатившиеся на воротник полукафтана из буйволового кожи; тяжелая кольчуга облежала его грудь.

Он молчал и лишь порой затягивал какую-то заунывную песню, глядя пристально и печально на Новгород и считая рассеянны волны, бившиеся о берега.

Вдруг ему послышался приближающийся от города звук конских копыт.

Он приложил ухо к земле – звук слышался явственнее, и конь его насторожил уши. Вскоре показался конник, осматривающий окрестности, как бы на поисках. Заслышав шорох у берега, всадник свернул туда своего коня, вгляделся на полулежавшего молодца и, радостно вскрикнув: «Чурчила!», соскочил с лошади и заключил его в свои объятия.

– Постой, Дмитрий, ты задушишь меня, как слабого ребенка, – заговорил Чурчила (это был он) в свою очередь дружески обнимая прибывшего, – я и так насилу дышу: у меня на сердце камень, а в душе – сиротство несчастное!

– Так вот как поступают наши задушевные-то! – воскликнул Дмитрий. – Помчался ты, как вихрь, невесть куда, и не сказал мне прощального слова! Бог тебе судья, Чурчила! А мы с тобой еще побратались на жизнь и смерть! Что я тебя обидел, что ли, чем, словом, или делом, или косым взглядом?

– Не кори меня ни тем, ни другим, брат названный, – вздохнул тяжело новгородский витязь. – Чудно тебе показалось отбытие мое из родного края, особенно же тогда, когда уже сковался я кольцом обручальным, но я еще чуднее дело поведаю тебе...

Крупная, как градина, слеза, скатившись по щеке его, разбилась о кольчугу.

– Да что ты, богатырская косточка, неужели и впрямь заплакал как баба? О чем же? Расскажи скорей, не терпится!

– Эх, замолчи молодецкое сердце! – заговорил снова Чурчила, ударяя себя в грудь. – Дай вымолвить тоску-кручину другу закадычному! Нет, я весел, Дмитрий, право, весел, как этот месяц, – продолжал он, прикидываясь веселым. – Да о чем тосковать? Красоток много на белом свете, а милая-то хоть и одна, да что ж? Если забыла она слово клятвенное, не в омут же бросаться от этого, чертям в угоду.

Он улыбнулся, но эта улыбка была скорее болезненной гримасой.

– Так-то это так, – отвечал в раздумье Дмитрий, – да вот мне невдомек: во-первых, я тебя не узнаю, ты ли это Чурчила-сокол, кистень-рука, веселый, удалой, всем пример, который, бывало, один выходил на целую стенку? Во-вторых, удивительно мне, как могла разлюбить тебя Настенька, новгородская звездочка? Хоть родитель ее, степенный посадник Фома Крутой, и впрямь крут, да твой родитель, Кирилл, тоже посадник, не хуже его, они же с ним живут в превеликом согласии; издавна еще хлеб-соль водят, так как и мы с тобой, бывало, в

каждой схватке жизнь делили, зипуны с одного плеча нашивали, да и теперь постоим друг за друга, хоть ты меня и забыл, помощника своего, Дмитрия Смелого!

– Постой, брат, не язви меня, дай передохнуть – все выскажу.

Глубоко и тяжело вздохнув, Чурчила начал:

– Ведомо тебе хлебосольство и единодушие отца моего с Фомой и то, как они условились соединить нас, детей своих; помнишь ты, как потешались мы забавами молодецкими в странах иноземных, когда, бывало, на конях перескакивали через стены зубчатые, крушили брони богатырские и славно мерились плечами с врагами сильными, могучими, одолевали все преграды и оковы их, вырывали добро у них вместе с руками и зубрили мечи свои о черепа противников? Бывало, радость привольная охватит удалых такая, что десятью языками не сможешь рассказать о ней. А тот восторг, который чувствовал я в душе при взгляде на мою суженую, когда благословили нас Пречистой, когда вложили руки ее в мою и наказали нам жить в любви и согласии, – восторг, вознесший меня на седьмое небо!.. Ах, Дмитрий, если бы ты знал, если бы ты мог знать, как билось мое ретивое!.. Бывало и смерть была мне близкой соседкой, и острие меча мелькало перед самыми глазами, но я не пугался: отобьешь его, да свое запустишь по самую рукоять – и прав – и понесся далее, а тогда... О! Нет, не умею!.. Какая она была красивая, как понимала меня!.. Как хотела нежить мою буйную голову на коленях своих!.. Настя, добрая, милая моя Настя!

С этими словами он крепко сжал руку Дмитрия и упал головой к нему на грудь, стараясь скрыть выступившие на глазах слезы, которых он стыдился.

Раздались сначала тихие, а потом громкие рыдания.

– Не одна она, и я понимаю тебя, добрый друг! – говорил Дмитрий, обнимая Чурчилу.

– Да, теперь ты у меня остался один, один на всем белом свете; теперь он почернел для меня: «Отсветила звезда моя, отсветила приглядная, покрылась саваном, небо туманное»... Как это дальше-то поется эта песня, которую сложил Владимир-утопленник?

– Полно, не обманывай ни себя, ни меня: до песен ли тебе, лучше расскажи, как поется дальше твоя песня...

– Слеза смыла пятно тоски задушевной, как будто я поделился ею с тобой! Отлегло немного от сердца. Слушай же далее! Я, как водится, с большим поездом сватов и дружек, стал ездить к невесте своей разгульно и весело!.. Пир у нее на столах высились горами, напитки лились рекой, и назначили уже день, когда совершить наше благословенное дело. Этот день был торжеством для всего народа, день памяти по святой Софии, к которому отец Насти Фома, хотел совсем подготовиться. Все шло своим чередом: старики наши отдались радости и руками и ногами, а дружки и все гости всей головой, пили они как на заказ, а мы... да что и говорить, так было привольно всем!.. Вдруг, точно ворон накаркал беду на нас бедных, нагрянул гонец из Москвы – и все пошло прахом. Дорога мне моя Настя, не возьму я за нее всего мира подлунного, но родина... Сожму ретивое, заставлю молчать его и променяю бесценную мою, стотысячную, на бесценнейшее сокровище – отчизну... После пусть сам умру бесчисленное число раз, не проживу мига без нее, зато на душе не будет зазорно.

Чурчила молодецки потрянул своими кудрями.

Дмитрий молча слушал исповедь друга.

– Ты знаешь клеветов Марфиных, – продолжал тот. – Они, в том числе и Фома, зачинщик всему делу, задумали опять подчиниться Литве, а у нас с тобой никогда не лежало сердце к этой челяди. Я, услышав об этом, прорвался в думскую палату и горячо заговорил с Фомой. Не понравилось ему это, рассерчал он на меня и обозвал обидными словами. Я тоже и при отце своем, и при всех советных мужиках задал ему такую отповедь, что пристыдил его и тем накликать на себя немилость и ненависть. Когда же сердце мое отошло, остыло от обид его, я спохватился. Отец мой принял его же сторону и послал меня повиниться перед ним.

Я тотчас ринулся туда, куда душа моя давно просилась, и стал молить его забыть обоюдные распри наши и покончить скорей начатое дело.

Чурчила перевел дух.

– Когда бы ты видел, как он рассвирепел на меня! «Одно условие, – рявкнул он как зверь, – и я прощу тебя и назову сыном: приходи завтра на вече и на коленях при всем собрании вымоли у меня прощение вины твоей. Да еще согласишься на все помыслы наши: преклони голову перед прибывшими литвинами, и, всячески их приветствуя, моли заступиться за родину. Иначе выкинь из головы когда-либо называться моим сыном, да и дочь моя выбрала уже себе другого суженого». Слова эти затронули меня за живое. «Ползают одни гады, – отвечал я ему резко, – а приветствовать литвин я должен не языком, а мечом. Когда бы им посчастливилось добыть меня живьем и, загнув голову, держать нож над горлом, и тогда бы не стал я унижаться и чествовать их, просить пощады у заклятых врагов наших!» – «Так если же ты когда-либо занесешь ногу свою через подворотню мою, – завопил он, – я затравлю тебя лихими псами». – «Да я и не захочу встречаться с тобой, ты злей их облаиваешь», – сказал я ему, как отрезал, и так сильно захлопнул за собой калитку, что ворота затряслись и окна задребезжали.

– А что же отец?

– Отец мой напустился тоже на меня за то, как посмел я дерзко речь вести с чтимым посадником, близким его товарищем, зачем не уступил ему, не согласился на его условия. К жару добавил он еще жару. Я не стерпел. – «Значит, вы одной шайки!» – Больше не мог я выговорить ни слова, выбежал на перекресток и начал клич кликать. – «Верные мои молодцы-сотоварищи, кто хочет со мной рискнуть за добычей далеко, за Ново-озеро, к Божьим дворянам¹², того жду я под вечер в «Чертовом ущелье», – а сам вскочил на коня и не смел обернуться назад, чтобы косячатое окошечко Фомина дома не мигнуло бы мне привычным бывалым и не заставило вернуться, да пустился сюда, как на вражескую стену, ожидать...

Не успел он договорить эти слова, как вблизи послышался конский топот. Явилось множество всадников, броня которых сверкала при трепетном блеске луны. Раздался звон оружия, когда они, соскочив с коней, окружили своего удалого предводителя.

– Ну, теперь прощай, друг! – сказал Чурчила, крепко обнимая Дмитрия. – Она забыла меня! Но ты вспомни меня, умру не умру, а помчусь рассеять тоску-кручину или прах свой!

– Как! – воскликнул Дмитрий, – и ты думаешь, что я пушу тебя одного без себя. Да мне и большой Новгород покажется широким кладбищем.

– Нет, Дмитрий, – сказал Чурчила, – не рискуй, у тебя дряхлый отец. Прости!

Закинув на руки поводья, он прыгнул в седло и вмиг исчез со своей дружиной.

Дмитрий остался один.

– Да ведь отец мой любит больше копить сокровища, чем дорожит сыновней любовью, – задумчиво говорил он сам себе, вспоминая последние слова Чурчины. – Ты покинул меня, так я тебя не покину, – воскликнул он.

Луна скрылась в это время за облако и скрыла его погоню за своим другом-братом.

¹² Так называли новгородцы ливонских рыцарей.

ХII. В доме Фомы

В день столкновения Чурчилы с посадником Фомой последний не возвращался домой из думной палаты до позднего вечера.

В доме посадника еще никто не знал о происшедшей ссоре жениха с отцом невесты, а потому по обычному порядку в дом к нему собрались на свадебные посиделки девушки – подруги невесты, которая еще убиралась и не выходила в приемную светлицу. Гости, разряженные в цветные повязки, с розовыми лентами в косицах и в парчовых сарафанах, пели, резвились и играли в разные игры, ожидая ее.

Скоро по извилистой лестнице, ведущей в эту светлицу, раздались стуки костыля и в дверях показалась, опирающаяся на него, сгорбленная старушка в штофном полушубке, в черной лисьей шапке и с четками в руках.

Девушки, завидя ее, оставили игры и, бросившись ей навстречу, закричали:

– Ах, Лукерья Савишна, матушка! – подхватили ее под руки и начали с нею шутить, приглашая побегать, да поплясать с ними.

– Ох, полноте, резвуньи, – говорила старуха, садясь в передний угол, кряхтя от усталости и грозясь на них костылем, – у вас все беготня, да игры, а я уж упрыгалась, десятков шесть все на ногах брожу. Поживите с мое, так забудете скакать, как стрекозы или козы молодые. Да где же мое дитятко, Настенька-то?

– Она еще не выходила, а мы уже давно собрались жениха да гостей встречать хоть издали, – сказала одна из девушек.

– Пожалуй, мы вместо ее тебя повеличаем, Лукерья Савишна? – промолвила другая, – запеть, что ли?

– Пошли же вы, – отвечала старуха, – повеличайте тогда, когда мне скоро уж запоют вечную память!

– Полно, что ты, Христос с тобой, Лукерья Савишна! Разве на свадьбе о похоронах думают? – закричали все девицы, всплеснув руками.

– Да к тому уже время подходит, милые мои молодницы! – со вздохом произнесла старуха, задумчиво чертя по полу своим костылем. – Только бы привел Бог при своих глазах пристроить Настюшу, тогда бы спокойно улеглись мои косточки в могилу, – добавила она прослезившись.

– Да полно же, перестань, так ты на нас тоску наведешь. Повеселимся-ка лучше! – заговорили девушки.

– Нет, это ведь я так к слову молвила, жаль дитятко стало, разлучают нас с ней, некому будет мне и глаза закрыть. Фома Ильич, Бог его ведает, как начал опять на вече ходить, и не подступишься к нему, такой мрачный стал. Спросишь что, – зыкнет да рыкнет, так поневоле не радость на уме-то, как обо всем подумаешь. Прежде я и сама не такая была: в посиделках ли на пиру ли, на беседе ли, на масленой ли в круговом катании, о святках ли в подблюдных песнях – первая я закатывалась. Плясать ли пушусь – выступаю плавно, подопрусь рукой, голову набок, каблучками пристукну, да как пойду, пойду – все заглядываются...

Не успела Лукерья Савишна договорить свои воспоминания, как в комнату, в сопровождении сенных девушек, вошла невеста. Настасья Фоминишна была красивая, стройная блондинка, с белоснежным лицом, нежным румянцем на щеках и темными вдумчивыми глазами, глядевшими из-под темных же соболиных бровей. Недаром по красоте своей она считалась «новгородской звездочкой». Этой красоте достойной рамкой служил ее наряд. Атласная голубая повязка, блистающая золотыми звездочками, с закинутыми назад концами, облекала ее головку; спереди и боков из-под нее мелькали жемчужные поднизы, сливаясь с алмазами длинных серег; верх головы ее был открыт, сзади ниспадал косник с широким

бантом из струистых разноцветных лент; тонкая полотняная сорочка с пуговкой из драгоценного камня и пышными сборчатыми рукавами с бисерными нарукавниками и зеленый бархатный сарафан с крупными бирюзами в два ряда вместо пуговиц облегли ее пышный стан; бусы в несколько ниток из самоцветных камней переливались на ее груди игривыми отсветами, а перстни на руках и красные черевички на ногах с выемками сзади дополняли этот наряд.

Девушки кинулись к ней навстречу, окружили ее и повели к старушке, припевая всем хором:

Шла девица, голубица,
Свет наш, Настенька,
По крылечку, по тесову
Да по коврику.
Она шла, переступала,
Приговаривала:
Как роскошно, как богато
Здесь у батюшки;
Как приглядно, торовато
У родного мне.
Славно птичке поднебесной,
Резвой ласточке,
Порхать по полю чистому,
По зеленому,
Красоваться, любоваться
Светлым ведрышком,
Быстро виться, расстилаться
По поднебесью.
Так и Настеньке талантливой
Быть век девицей
Притаманней и привольней,
Чем молодушкой!
Вдруг откуда ни возьмись
Да навстречу ей
Идет молодец красивый
Словно писанный.
Ясноокий и румяный,
Кудри черные,
Он приветит ее речью
Сладкогласною:
Ты куда, моя девица,
Настя-звездочка?
Воротися, дай мне руку:
Я твой суженый!
Хорошо тебе, раздольно
В отчем тереме;
А с милым другом милее
Жить во бедности.
Мы согласно и советно,
По-любовному,

Не увидим, как промчатся
Годы многие.
Настя дрогнула, смутилась
И потупилась.
Ее щеки жаром пышут,
Разгораются,
Ретивое бьется сильно,
Колыхается;
Словно сладкий мед вливают
Речи молодца,
И разнежась вздыхает
Тяжко, сладостно;
Исподлобья и украдкой
На него глядит
И с стыдливою ухваткой
Говорит ему:
Суженый – возьми девицу, –
Полюби меня,
И сверкнула на ресницу
Жемчугом слеза.

В то время, когда девушки приветствовали невесту этой песней, она была в объятьях своей матери и, слушая с удовольствием приятные для нее напевы, скрывала на груди Лукерьи Савишны свое горящее лицо. Затем, как бы очнувшись, она начала целовать по одиночке своих подруг.

– Что это?.. На дворе уже давно вечер, а жениха нашего все нет как нет. Да и отец что-то запропастился на вече. Ну что ему там делать с ранней зари да доселе. Ведь всех не перекричать! – сказала старушка-мать.

– Уж не приключилось ли с ним чего недоброго? – заметила дочь, не спуская глаз с окошка.

– Кому? – спросила мать, смеясь, – отцу или жениху? Кто для тебя дороже?

Настя смешалась и молчала. Лишь после довольно продолжительной паузы вымолвил:

– Оба они неоцененны для меня, матушка, но батюшка дороже, он родитель, кормилец мой.

– Полно пустословить, Настюша! – перебила ее мать. – Я по себе это знаю: бывало, сидя наверху, да взаперти в своей девичьей светлице, как хочется найти такого человека, который бы вынес тебя оттуда, как заговоренный клад, и как он после того становится нам дорог. Вот мы с отцом твоим, так признаться сказать, не всегда ладили, норовом-то он крутеек и теперь. Сперва звались мы «голубками», хотя подчас и грызлись как кошка с собакой, а после он прозвал меня сорокой-трещоткой, – ведь вот какой обидчик. Да, впрочем, я ему сама не спускала: он меня за косу, я его за бороду – отступится поневоле. Я еще скромна, не все высказываю. Да что же ты, Настенька, призадумалась? Девицы, гряньте-ка песенку, да погромче какую, только не заунывную, что душу тянет, а так – поразгульнее, повеселей... Я и сама подтяну вам.

Старуха запела дребезжащим голосом:

Отставала свет-лебедушка
Прочь от стада лебединого...

– Да ты уж, кажись, и плакать собралась?.. О чем это?.. Да, да, мы расстанемся с тобой, неоцененное мое дитятко! Отдаю я тебя в чужие люди! Осиротеет мы обе!

– Полно, родная, мне и без того моченьки нет, что-то так тяжело взгрустнулось, так вешнее замерло, и сама не знаю о чем! – отвечала, всхлипывая, дочь.

О чем?.. Ну, вестимо, о чем, что долго суженого нет? Вот придет он – дам я ему себя знать!

– Да придет ли он, матушка?.. Что-то во мне и веры нет! Я сегодня сон видела, злое-щий такой...

– Я сама – тоже. Будто отец твой, муж мой, обратился в медведя, еще страшнее стал, да и...

– Вот кто-то подъехал... Чу, уже и голос раздается в сенях. Должно быть, это они! – закричали девушки, и мать с дочерью, несмотря на то, что последней вменялось в преступление самой показываться жениху, бросилась встречать долгожданных гостей.

Девушки между тем запели:

Вылетал сокол ясный на долину,
Он искал соколицу, девицу,
Он сыскал себе...

– Анютка! Палашка! – кричала старуха своим девкам. – Ступайте, бегите скорей принимать кульки с гостинцами от жениха! Накрывайте столы. Пойте, пойте, девицы!

Девушки заливались.

Вошел Фома с несколькими незнакомцами.

– Что это? – Угрюмо проговорил он. – Чего вопите? Гасите светцы и замолкните, теперь не до вас!..

– Как! Да что это ты затеял? – подхватила Лукерья Савишна, пятясь от него и раскинув удивленно руки. – Зачем гасить светцы да замолкать песням? Что ты ворожить или заклинать кого хочешь в потемках? Так ступай в свою половину, а в наши дела, жениха принимать, не вмешивайся.

– Жених сегодня не будет! – грубо буркнул Фома и стал усаживать своих гостей, из которых один пристально и жадно глядел на бледную томную Настю.

– Чтобы тебе самому принудилось, старому лешему! – проворчала про себя старуха. – Почему же? Что же ему сделалось? Не хворает ли он и помнит ли слово клятвенное? – пристала она к мужу с вопросами уже вслух.

– Нечистый его знает и с тобой-то, отвязись от меня! – закричал на нее Фома.

– И ты от меня со своей челядью сгинь с глаз долой! – не осталась в долгу Лукерья Савишна.

– Баба! – крикнул еще громче Фома. – Я вижу, у тебя волос длинен, да и язык не короток, замолчи, а не то я его совсем вытяну или укорочу.

– Да что ты взаправду рассерчал и озлобился на меня без причины, уж нельзя и слова вымолвить! Мы ждали жениха, а не тебя с этими, сразу понизила она тон.

– Чурчила более не жених моей дочери! Слышишь ли? Теперь о нем более ни слова. Скажи это Насте, чтобы и она не смела более помышлять о нем.

Старуха всплеснула руками, а Настя, сама услышав свой приговор, дико взглянула на отца изумленными, помутившимися глазами и бледная, как подкошенная лилия, без чувств упала на пол.

– Что ты, варвар старый, что ни слово, то обух у тебя! Батюшки светы! Сразил, как ножом зарезал, дитя свое... Разве она тебе не любя? – кричала и металась во все стороны Лукерья Савишна, как помешанная, между тем, как девушка впрыскивала лицо Насти бого-

явленной водой, а отец, подавляя в себе чувство жалости к дочери, смотрел на все происходившее, как истукан.

– Что же теперь добрые люди скажут? Вот сердечный твой сынок старший, Павлуша нелюдимый, знать более тебе по нраву пришелся! Тебе нужды нет, что он день-деньской шатается, да с нечистыми знается. Нет же ему моего материнского благословения! От рук он отбился, уж и церковь Божию ни во что ставит! Или его совесть заела, что он туда ногу не показывает? Или его нечистые заколдовали? Или сила небесная не пускает недостойного в обитель свою? Намедни он, – вопила старуха.

– Что ты отходную, что ли, читаешь дочери? – мрачно сквозь зубы прервал ее Фома, сурово сдвинув брови.

– Ах ты, мои родные! Сгубил тебя варвар, мою крошечку!.. Заплатит ему Бог, – стала было причитать Лукерья Савишна, но силы ее оставили и она, в последний раз всплеснула руками, как сноп упала возле дочери.

XIII. В Чертовом ущелье

Почти на краю Новгорода, далеко за Московскими воротами, был обширный пустырь, заросший крапивой и репейником. Вокруг него торчали огромные рогатые сосны, любимое пристанище для грачей, ворон и хищных зверей, в середине находилось ущелье, прозванное «Чертовым», – в нем под горами хвороста и валежника водились всякие гады: змеи и ужи.

Недалеко от него стояла маленькая избушка с соломенной крышей и с двумя прорезями маленьких окон. Покосившаяся от времени дверь, сколоченная из трех досок, поминутно билась и скрипела на крючьях, то открываясь то затворяясь.

Предание об этой избушке было недоброе.

Старожилы уверяли, что они и не помнят, кто построил ее. Место это обегали испокон века, и только запоздалый путник решался идти мимо него, да и то в некотором отдалении, осеняя себя крестным знамением.

Рассказывали, будто дверь избушки, бьющая, как подстреленная птица крылом, была подвижна нечистой силой, которая нарочно заманивала любопытных внутрь избушки, откуда уже они никогда не возвращались.

Молва шла далее и утверждала, что в ней жил чернокнижник, злой кудесник, собой маленький старикашка, а борода с лопату и длинная, волочащаяся по земле; будто вместо рук мотались у него железные крючья с когтями, а ходил он на костылях, но так быстро, что догонял ланей, водившихся в округности. Днем он не показывался, заклтый еще святителем Ионой Новгородским, а по ночам прогуливался, если не на костылях, то верхом на огненном козле, и с таким пронзительным свистом, раздававшимся по всему лесу, что распугивал всех хищных птиц, притаившихся в гнездах. Птицы выли, стонали и били крыльями страшную тревогу по всему лесу.

Солнце глянуло своими лучами сквозь серые облака на мрачные ели и сосны и зарумянило «Красный холм», находившийся перед самой избушкой «Чертова ущелья». «Красным» он был назван потому, что под ним злой кудесник погребал свои жертвы, и в известные дни холм этот горел так ярко, что отбрасывал далеко от себя красное зарево.

На этом холме сидели двое.

Один из них – человек мрачного вида, в нательном тулупе и в нахлобученной на глаза шапке из черных овчин, волосы его, черные как душа закоренелого убийцы, были нечесаны и взъерошены и высывались клочьями из-под шершавой шапки, так что трудно было догадаться, где кончается овчина и где начинаются волосы. Кудрявая борода, смуглое лицо, кушак, кованный из чугунных колец, на котором висели заржавленные ножны, – ножом же он шаркал по бруску, – лежавшая подле него рогатина – все это показывало в нем, если не хозяина сего места, то достойного его жилья, обыкновенно называемого «придорожным удалцом».

Вид его белокурого товарища был менее свиреп, но все-таки у постороннего зрителя могло сразу сложиться убеждение, что они: два сапога – пара.

– Прощай же, Семен! – говорил задумчиво черный.

– Видно, ты далеко на добычу хочешь отправиться! Куда это? Что-то давно я вижу тебя таким сумрачным и что-то обдумывающим, – спросил его белокурый.

– Куда мне надобно! – уклончиво ответил тот.

– Слушай, Павел Фомич, – начал Семен, – грех тебе таиться от товарища, который мыкается с тобой одной жизнью, готов наткнуться за тебя на нож и копье.

Помолчав немного, Павел отвечал:

– Так и быть, поведаю тебе, что ни на есть мое задушевное. Мне скучно на родине, тесно в большом городе, люди не ласково смотрят на меня, да и сам я не люблю никого из

них, словно рожден быть не человеком... Ты знаешь, как я ненавижу Чурчилу, и вот за что: до него я слыл на кулачном бою первым бойцом и удалцом, но он раз меня сшиб так крепко, что я пролежал замертво целые сутки, а ты знаешь мой норов: или ему, или мне могила, без того жить не хочу. Ты знаешь и то, что случилось в нашем семействе. Если бы он не повздорил с отцом моим и свадьба их с сестрой состоялась бы, я уж готовил ему подарок в заздравной чаре... Но говорить теперь некогда. Он далеко ищет смерти, а я из стремени ноги не вытащу до тех пор, пока не найду его и не помогу ему в этом, то есть не всажу ему нож в горло. Он думал видеть во мне брата и обходился со мной всегда очень любезно, тем легче будет мне втереться к нему в доверие. Давно бы выслал я его с белого света, да за него здесь заступников много, а там, где он теперь скитается, верней и лучше найдется рука на его шею. Сам знаешь, грозен враг за горами, но грозней за плечами. А ты оставайся здесь рыскать по ночам за добром с прочими товарищами. Прощай, конь мой далеко, руки чешутся.

С этими словами Павел быстро вскочил на своего коня и исчез, мелькнув раз-другой в чаще деревьев.

– Вот оно что! – удивленно развел руками Семен, вытаращив глаза вслед удалявшемуся товарищу.

Оставим на время наших героев, дорогой читатель, вернемся для объяснения некоторых описанных в предыдущих главах исторических событий за некоторое время до этого, причем заглянем в московское княжество.

XIV. Терем под Москвой

Тихо, мертвенно было в природе. Черные тучи густо обложили горизонт, изредка лишь мерцали на нем редкие звездочки, но и те одну за другой заволакивали дождевые облака.

Ночь уже совершенно спустилась на землю и покрыла ее как бы черным траурным крепом; молния изредка разрывала тучи, но этот мгновенный пожар неба еще более стгушал сумрак, висевший над землей.

Громовые раскаты долго и яростно звучали в пространстве.

Был конец августа 1477 года.

В нескольких десятках верст от Москвы и на столько же почти в сторону от большой тверской дороги стоял деревянный терем, окруженный со всех сторон вековыми елями и соснами. При первом взгляде на него можно было безошибочно сказать, что прошел уже не один десяток лет, когда топор звякнул последний раз при его постройке. Крылья безостановочного времени не раз задевали его и оставили на нем следы свои. Добрые люди давно не заносили ноги через его порог.

Путники, застигнутые ночью или непогодой на большой дороге, редкие не знали, что на ней находится приятный шинок, содержащийся одним жидовином, по прозвищу Загреба, славившимся в то время на всю окрестность молодой брагой и молодой женой, которая была весела и так же гуллива, как брага и щеки которой были так же пышны и румяны, как поджаренные блины ее мужа.

Недобрые тоже давно не прокладывали следов к этому терему, зная, что в нем, кроме ветра, хозяйничавшего по жидням, ловить было некого, да и поживиться, кроме живших в нем старика и старухи, было нечем и не у кого.

Терем этот, огороженный высоким бревенчатым забором, разделялся длинными сенями на две неровные половины. Меньшая из них, состоявшая из одной светлицы, была занята упомянутыми стариками, а большая, по слухам, обитаемая нечистой силой, стояла запертой большою железной дверью, сквозь которую продеты были двойные заклепы, охваченные огромным замком с заржавленной петлей.

Шесть долгих зим провели в том необитаемом тереме старик Савелий с женой Агафьей; недаром говорят, что привычка долго ли, коротко ли, а обращается во вторую природу: старики были довольны своей судьбой и друг другом. В последнем бывали исключения лишь тогда, когда Савелий, побывав в Москве за харчами, соблазнялся на обратном пути елкой, гордо торчавшей над дверью шинкаря Загребы, ласково и умильно манившей к себе конных и пеших путников, заезжал будто ненароком к хозяину шинка спросить: «нет ли какой ни на есть работенки?» несмотря на то, что жидовин при всякой надобности всегда сам присылал за ним.

Савелий при этих посещениях не был обносим ковшом пенистой браги, а при выходе из шинка пазуха его всегда топырилась доброй краюхой пирога с капустой, данной ему на дорогу или в гостинец Агафье Сидоровне.

После такого задабривания гостеприимный Загреба уж и не спрашивал Савелия: можно ли ему в пределах леса, вверенных последнему, рубить дрова для варки браги и печения пирогов.

Только Агафья-то Сидоровна всегда недовольная встречала своего муженька, заметив, что у него лицо осело, как ее праздничная кичка, а ноги и язык, видимо, заплетаются. Он же с похмелья был недоволен женой, когда она своим ворчанием прерывала его вместе грустные и сладостные воспоминания так недавно минувшего.

В сущности они жили дружно, хотя и не припеваючи.

В описываемый нами поздний вечер, зажженная лучина, воткнутая в железный светец, слабо освещала Савелия, сидевшего на скамье; возле него лежал готовый лапоть, другой он плел, спеша закончить его к утру на продажу. Напротив него Агафья дремала под однообразное жужжание веретена, а последнему вторил сверчок за печкой.

Старики молчали.

Вдруг молния облила своим пламенем оконце светлицы.

– С нами крестная сила! – воскликнула Агафья, перекрестясь и выронив из рук веретено.

– Упаси Господи, какая гроза наступает! – сказал Савелий, также осенив себя широким крестом.

Вслед за громовым ударом забушевал ветер и полил проливной дождь: лес дрогнул, деревья порывисто закачались своими вершинами.

– Сидоровна, – сказал Савелий, – заслони-ка окно-то ставнем, а то задует лучину.

Старуха поплелась, но только лишь подошла к окну, как в него ворвался порыв ветра, лучина вспыхнула и потухла. Вместо нее ослепительно блеснула молния и осветила окнами движущиеся фигуры людей.

– Батюшки светы, что это? – воскликнули в один голос старики, – пораженные такой массой неожиданностей, но раскат грома заглушил их слова.

– Эй, кто здесь живет, добрые люди или не добрые? Укройте от темной ночи и непогоды заблудившихся! – раздался у окна громкий голос.

– Да поскорей! – поддержал другой, хрипловатый, дрожащий, видимо, От холода голос.

– Бабка! Вдувай огня! – заговорил Савелий, придя в себя, – а я побегу отворить ворота.

– Как бы не так, вдувай огня! – передразнила Агафья мужа вполголоса. – Да кого это нелегкая принесла в такую пору. Стану я светить всяким бродягам. По мне они хоть все глаза повыкололи себе о рожны, побери их нелегкая!

– Или хозяев нет, или они нехристи какие, что не могут пустить нас на часочек обогреться да обсушиться? – повторял за окном хрипловатый голос.

– Да что попусту толковать... Ишь – ни привету, ни ответу... Если бы они были добрые люди, то сами бы позвали нас, а со злыми считаться нечего! – прервал его громкий голос. – Если совсем нет хозяев, то мы и без них обойдемся... Терем не игольное ушко – пролезем... Эй, люди, ломайте ворота, а я попробую окно...

По стуку ножен меча не трудно было догадаться, что говоривший спрыгнул с лошади.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.